

А. ЛАВИНЦЕВ

ТРОН И ЛЮБОВЬ



Александр Иванович Лавинцев

На закате любви (Трон и любовь #2)

Эта книга — о страстях царя Петра, его верных и неверных женах, любовницах, интригах, изменах...

Автор довольно свободно и субъективно трактует русскую историю тех далеких лет. Однако это не историческое исследование, а роман о любви и ненависти, о верности и ревности, где история — только фон, на котором разворачиваются интереснейшие, захватывающие события, полные драматизма. Это — история Великой Любви Великого Человека.

Император Петр I занят государственными заботами, гостит в Европиях, расширяет свой кругозор. Аннушка Монс прискучила ему, как и постылая законная жена, заточенная в монастырь. Меншиков знает, чем развеять царскую скуку...

Содержание

#1	0006
I Полет событий	0007
II Друг другу равные	0010
III Мариенбургская невеста	0019
IV Овдовевшая новобрачная	0027
V Солдатская добыча	0032
VI На развалинах	0035
VII Старый знакомый	0042
VIII Новый властелин	0047
IX Высокий гость	0052
X С глазу на глаз	0057
XI Перекрещенка	0064
XII На пути к счастью	0071
XIII Тайные враги	0078
XIV По ступеням к выси	0085
XV Поиск на Орешек	0090
XVI Под грохот пушек	0095
XVII Помраченная радость	0102
XVIII Удар в самое сердце	0109
XIX Возвращение царя	0114
XX Вино и женщины	0122
XXI Новая звезда	0133
XXII В трудах без отдыха	0138
XXIII Тайные думы фаворита	0142
XXIV Прусский посланник	0150

XXV Последняя вспышка	0158
XXVI Собирающиеся тучи	0168
XXVII «Матка Катеринушка»	0173
XXVIII Бриллианты царицы	0177
XXIX Конец прелестницы Кукуя	0182
XXX Отверженная жена	0188
XXXI Майор Глебов	0193
XXXII Несчастный царевич	0198
XXXIII В своей крови	0207
XXXIV При дворе преобразователя	0212
XXXV Постоянно в страхе	0217
XXXVI На первых следах	0222
XXXVII Муки ревнивца	0228
XXXVIII Страшное дело	0235
XXXIX Ассамблея	0242
XL Коварная просьба	0247
XLI Тяжелое испытание	0253
XLII Налетевшая буря	0261
XLIII Во имя «справедливости»	0271
XLIV Неудачное покушение	0276
XLV Кровавый конец любви царя	0282
XLVI Нежданный гость	0290
XLVII Старые знакомцы	0300
XLVIII Друзья детства	0305
XLIX Отмщение	0314

А. Лавинцев
На закате любви

Исторический роман



I

Полет событий

Свезли на кладбище трупы казненных стрельцов. Попритих народ московский. Лежали в земле верные товарищи Петра. Особенно горевал государь о Лефорте, на которого во всем мог положиться и советы которого высоко ценил.

Кто остался? Часто думал об этом царь, можно было по пальцам пересчитать верных людей. Шереметьев да Апраксин, Репнин, Долгорукий, Салтыковы... В Кукуй-слободе никого, кроме Аннушки, да и она странная какая-то стала, на ласки неохотная, часто грустит. Спросит царь:

— Что с тобой, Аннушка?

Она не ответит, только вздохнет.

Алексашка Меншиков увидит бурю на лице Петра Алексеевича — песней, пляской, метким словцом развеселит, как в былые годы. Но ненадолго — снова закручинится государь, с чего бы?..

— Стареем мы с тобой, Данилыч! — вздох-

нет Петр Алексеевич.

Может, и вправду другим стал Алексашка, вчерашний поручик Преображенского полка, верный друг царя? А может, дело-то в другом.

— Э, Алексашка! — скажет ему в редкие минуты царь. — Наследника у меня нету!

— Будет! — горячо отвечал Данилыч. — Ты что, государь, старик, что ли? Будут и парни, и девки у тебя, и какие еще! Да мы еще и Алексея Петровича поднимем! Будет тебе верным помощником!

Будет ли? Хилый, хворый царевич. Смотрит волчонком — все помнит.

— Мало у меня помощников, — нахмурился Петр Алексеевич. — Есть люди верные, да воры!

Александр Данилыч опускал глазки: за что обижаешь, государь? Жизнь за тебя отдам. И отдаст жизнь за царя Меншиков, а что вор — так натура такая, не переделаешь. Хоть кнутом исполосуй, хоть морду искровяни, как не раз делал государь, — не поможешь.

Великий был человек Александр Данилыч — и в делах, и в воровстве. Такого мздоимца не знали давно.

— К Алексашке Меншикову, — говорил между прочим московский гость Романов одному из своих знакомых, — государева милость такова, что никому такой нет.

— Што ж, — отвечал знакомый, — молитва о том Алексашки к Богу, что государь к нему милостив.

— Тут Бога и не было: черт его с ним снес, вольно ему, что черту, в своем озере возиться, желает, что хочет.

В Анне Ивановне Монс Меншиков конечно, видел не только соперницу, но и страшно-го врага своего. Он знал, что Петр намерен жениться на ней, и как бы он высоко ни поднялся при государе, не подданному было бороться с царицей, хотя бы уже по одному тому, что «ночная кукушка всегда дневную перекукует».

И Меншиков скоро сообразил, как ему бороться с этой всемогущей женщиной.

Друг другу равные

Хитер был Алексашка, знал, что клин клином вышибают. Только некогда было ему заниматься войной с бабами. Возвратившись из-под Азова, царь никому не давал передышки, и даже о пирах ничего не было слышно. Да и до того ли было Петру? Успевай только поворачиваться!

В Москве беспокойно. Развелись и дневные, и ночные грабежи, грабили даже монахи. Однажды сам царь подвергся нападению смиренных иноков, еле отбилсЯ с помощью Меншикова. Что уж о простом народе говорить.

А тут еще новые войны назрели: к Балтике нужно было прорываться сквозь шведов. Датский король Вольдемар, польский король Август (Саксонский) втянули Петра в коалицию против Швеции. Шведский перебежчик Паткуль льстивыми и вкрадчивыми речами успел так завлечь царя, что тот подписал союзный договор и принял обязательство вы-

ставить против шведов достаточное войско.

Между тем Швеция в то время была ближайшей соседкой России. Шведские владения начинались за Псковом. Все побережье Рижского залива, а вместе с тем и вся Нева от Ладожского озера до устья были шведскими. Здесь, при истоке Невы, стояла сильнейшая шведская крепость Нотеборг, а выход в устье заграждала другая крепость — Ниеншацц. Издревле вся эта местность вплоть до реки Сестры к северу принадлежала русским и была уступлена Швеции лишь при первом Романове по Андрусовскому договору.

— Не быть России без моря! — говорил Петр. — Верну наши земли исконные!

А путь к землям исконным, путь к морю лежал через светлую холодную Неву. На то же и хитрый Паткуль напирал, соблазняя выступить против шведского короля Карла XII, которого Петр не на шутку побаивался. Побавался, завидовал ему и зорко следил за «коронованным викингом», как называли Карла XII. Он был государем такого же калибра, как и московский царь, только посдержаннее, однако тоже молодой и азартный. Он не рубил

сам голов провинившимся подданным — упражнялся на баранах. Деликатный в личных сношениях с людьми любого чина, он во время катания по Стокгольму вдруг приказывал своей свите штурмовать дома мирных граждан, а бывали случаи, что штурмом брались даже соборы.

— Мальчишка! — усмехались одни.

— Стратег, — говорили другие.

И были правы: и мальчишка он был, и стратег, и смелый человек. Карл не задумывался с малыми силами напасть на сильнейшего врага, его армия была уже закалена в боях. Седоусые ветераны боготворили его.

Русских Карл ни во что не ставил, не считал за какую бы то ни было военную силу, и когда была объявлена война, то прежде всего кинулся на датчан, захватил врасплох Копенгаген, заставил Вольдемара Датского подписать мир, а после этого двинулся на Августа Саксонского, в каждой битве разбивая его польские войска. Неутешительные вести доходили до Петра.

От него ждали решительных действий, а он занимался чепухой.

Пред 1 января 1700 года через герольдов, ездивших по Москве, было объявлено народу, что отныне год будет считаться не с 1 сентября, а с 1 января, и новогодние празднества было приказано справлять не менее как семь дней.

Праздник так праздник! Русские были всегда не прочь праздновать по какому бы поводу ни было. Семь дней с 1 января жгли по Москве смоленые бочки, на площадях пускали фейерверки, постоянно трещала ружейная стрельба, царевы кабаки торговали на славу, тем более, что в некоторых из них раздавалось даровое угощение — и реформа была принята народом без малейшего протеста.

Отпраздновали, отгуляли, и ближе к осени царь выехал в Новгород, где уже была собрана вся русская армия. Лихие семеновцы и преображенцы стояли рядом с новыми, наспех сколоченными полками. Безусые солдаты в мешковатых мундирах испуганно смотрели на царя, вздрагивая от пробной пушечной пальбы.

В ноябре 1700 года русская армия была уже под Нарвой. Взятие этой крепости Петр счи-

тал важнейшим делом, надеясь, что возьмет под свою власть весь край и, поднимаясь вверх по Неве, поставит сильнейший Нотебург между двух огней, выдвинув против него свои полки и со стороны Ладоги.

Но военное счастье обмануло русского царя. Вскоре после прибытия под Нарву было получено известие, что сюда же форсированным маршем идет шведская армия под предводительством самого короля.

Приутихли бойкие царевы советчики. В Нарве грозно гремели барабаны.

Петр ночью на 18 ноября, когда шведский король был недалеко, покинул свою армию, оставив главнокомандующим австрийского принца де Кроа, надушенного, напудренного, ни слова не говорившего по-русски. Уже в Москве Петр получил известие: русская армия разбита наголову. Спаслась бегством только быстрая конница Шереметьева. Карл захватил огромное количество пленных и ликовал. Были отчеканены медали, на одной стороне которых гордый Карл-победитель, а на другой — бегущий русский царь.

— Погодите! — грозился Петр. — Я еще покажу этому Карлу!

Шведский король, не задерживаясь, двинулся по пятам русской разбитой армии, но у Пскова русские полки, словно вспомнив былые победы дедов и отцов, встали намертво. Гибли сотнями, но не пропустили далее врага. И Карл не стал терять дальше своих солдат, ушел в Польшу, там начал гоняться за войсками Августа, разбивая их при каждой встрече в пух.

До него доходили вести о делах Петра — на них император давно махнул рукой: подумаешь, вояка! Вот разберется Карл с Августом — за Петра примется!

Плохо знал швед русского царя. Не сломила Петра нарвская неудача — подстегнула крепко, стал молчалив, пьянки забросил. Весь в делах, трубка в зубах, треуголка на бровях. Нарвский погром только разжег в нем желание победы над могучим противником. Приказав одному из своих любимцев, боярину Борису Шереметьеву, начать в Эстляндском

крае «малую войну», сам же немедленно принялся собирать новую армию, выбивать деньги на оружие. Ему опять приходилось жить в ненавистой Москве, где каждый уголок напоминал о кровавых жертвах или о потерянных друзьях. Но этого требовало дело, и Петр терпеливо покорялся необходимости.

Собрать новую армию удалось сравнительно легко. Кликнули клич по государству, явилось столько охотников послужить в царских войсках, что с излишком хватило бы на укомплектование разгромленных полков. Но не было денег на обмундирование, на вооружение, на военные припасы. Тогда Петр решился на крайнюю меру. На военное дело была отобрана казна многих монастырей, с колоколен были сняты колокола и перелиты в пушки; обучение новобранцев происходило быстро и жестоко и, словно по щучьему велению, у московского царя выросла новая, готовая для битв и побед армия.

Качали головами выдавшие виды иноземные послы, слали депеши своим королям и царям о русском чуде.

В Эстляндском же крае и в смежном Лифляндском творились ужасы. По всей стране были рассыпаны малые русские отряды. Они вытаптывали хлеб на полях, вырубали и выжигали леса, не щадя жителей, разоряли селения, нападали на хорошо укрепленные малые города. Весь край малой войны обращался в пустыню, и если бы в ту пору Карл двинулся на Москву, то на огромных пространствах он не нашел бы ни жилищ для своих солдат, ни провианта для них — все уничтожалось нещадно.

Малая война непрерывно тянулась около двух лет, принося жителям смерть и горе.

Наконец и русские стали одерживать желанные победы. 18 июля 1708 года Шереметьев разбил при Гуммельсгофе довольно сильный шведский отряд самого главнокомандующего генерала Шлиппенбаха. Почти вся шведская пехота легла на месте, сам Шлиппенбах с немногими всадниками пробился сквозь атаковавших русских и спасся бегством. В Москве звонили оставшиеся коло-

кола. Петр принимал поздравления.

От Гуммельсгофа Шереметьев решил пойти на городок Мариенбург, хорошо укрепленный, с порядочным гарнизоном, в изобилии снабженный провиантом, которого так не хватало русскому славному воинству.

III

Мариенбургская невеста

Жители Мариенбурга не ожидали, что так скоро надвинется на них военная гроза. Они твердо надеялись на свои стены и храбрость защитников и презрительно говорили, что русские могут разорять только эстские и латышские деревни, но на город напасть не посмеют; отучил их-де от этого король Карл. И беспечные мариенбуржцы решительно ни в чем не изменили своей обычной жизни. В городе все шло, как изо дня в день прежде: лавки были открыты, таверны и кабачки полны веселившимся людом. Правда, под защиту городских стен стекались жители разоренных деревень, но и их было не так много, чтобы особенно опасаться русского нашествия.

Однажды по городку пронеслась весть: Вольмар взят, разрушен и сожжен русскими — камня на камне там не оставлено; а Вольмар — ближний городок, такой же веселый, такой же чистенький, как и Мариенбург.

Лишь тогда зашевелились беспечные ма-

риенбуржцы. Закрыты были городские ворота, подняты подъемные мосты, по ночам ни огонька не было видно в домах, и только как тени бродили по городским стенам часовые.

Тревожные минуты переживали жители и, как всегда, утешение пред надвигающейся бедой искали у своего пастора.

Добрый, душевный старик был этот мариенбургский пастор Эрнст Глюк. Немудрые проповеди говорил он в кирке своей пастве, и всякий, кто приходил к нему, мог рассчитывать на доброе слово и дружеский совет.

Пастор был вдов. Его хозяйством занималась старушка-сестра, вместе с нею жила приемная дочь пастора Марта.

В злополучные для Прибалтийского края годы Марта была уже взрослой девицей, высока ростом, полна, румяна и считалась одной из первых красавиц Мариенбурга. Как и все здешние женщины и девушки, она была не особенно застенчива, свободна на язык, любила посмеяться, потанцевать и не особенно задумывалась над тем, что будет с нею. Да и чего ей было думать о своем будущем? Пастор был добр и хотя не богат, но сбережения у

него были, и Марта питала полную уверенность, что старик не оставит ее необеспеченною. Было еще обстоятельство, которое позволяло ей вовсе не думать о своем будущем: Марта была помолвленная невеста. Ее жених Иоганн Рабе, молодой красивый веселый парень, только и мечтал о том дне, когда наконец Марта станет его женою; оба они с нетерпением ждали этого. Марта первую молодую любовью любила своего жениха, Рабе пылко любил невесту.

Но пронеслись тревожные слухи о том, что русские готовятся напасть на Мариенбург.

Душа Иоганна полна была тревогою. Как-то пришел мрачный.

— Марта, Марта, — с тоской произнес он. — Что же будет с нами?

— А что же, дорогой мой? — спокойно спросила его девушка. — Что может быть?

— Русские идут сюда. Придется воевать: ведь я капрал.

— Знаю, Иоганн. Ты думаешь, русские возьмут Мариенбург?

— Все может быть, Марта.

— И боишься их?

— Да нет же, Марта, нет! — с досадой воскликнул Рабе. — Не за себя страшусь я... Не за себя, а за тебя мне страшно.

— Но что же? Что такое? — встревожилась девушка.

— Эх, ты совсем дитя! Неужели не понимаешь, что должно произойти, если русские ворвутся в город?

— Что же? Разве они — не люди?

— Они солдаты. А когда солдаты воюют, они хуже лесных волков; только волки не жгут дома, а эти все разрушают, грабят... Если Мариенбург будет взят, Марта, я живым не дамся в руки. Но тебя они пощадят: ты ведь — женщина, и женщина красивая.

Лицо девушки покрылось ярким румянцем: она наконец поняла, что хотел сказать жених.

— О, милый! — пылко воскликнула она. — Будь спокоен! Я буду твоею или ничьею. Ты сказал: я — женщина, но ведь и мы, женщины, умеем умирать...

— Спасибо, Марта! — восторженно воскликнул Рабе. — Ты делаешь меня героем... Так слушай же! Что ты скажешь, если мы

пойдем к преподобному пастору Глюку и попросим его соединить нас на жизнь и смерть?

Марта опять покраснела и промолвила:

— Делай, милый, как знаешь, я на все согласна.

Однако ни на другой, ни на третий день Рабе не явился в дом пастора: боялся, что Глюк неодобрительно отнесется к его предложению: ведь война на пороге. Но девушке по сердцу пришлась мысль возлюбленного. Она сама заговорила об этом с приемным отцом, и Глюк снисходительно отнесся к ее словам.

— Кто знает, милое дитя, что может быть в военное время... Сегодня побеждают одни, завтра одолевают другие... Во Священном Писании сказано, что волос не упадет с головы человека без воли Божией, однако кто же может знать волю Господа? И я смертен, и меня могут убить в своем ожесточении враги... Не плачь, не плачь! — заметил он слезы на глазах своей питомицы. — Помни, я — слуга алтаря и свято верую, что будет так, как угодно Господу. Я говорю ведь не о том, что это будет непременно, а о том, что может быть. Так вот!

Что ты будешь без меня? Одинокая, бесприютная сирота, без родных, без друзей. Если же ты будешь женою Рабе, то в случае несчастья всегда найдешь приют у его родственников. Я согласен ускорить вашу свадьбу, пусть он приходит, и я благословлю вас пред алтарем как мужа и жену.

Рабе прибежал, принесся весть о взятии русскими Вольмара и об их походе на Мариенбург...

Ужасы рассказывали вольмарские беглецы. Солдаты, разоряя несчастный город, не знали пощады: кровь лилась, и пламя пожара скрыло в себе следы неистовств. Рассказывая, Рабе от волнения многое преувеличивал, и впечатление, произведенное его рассказом на слушателей, было потрясающее.

В тот же день пастор Глюк благословил свою плачущую воспитанницу и капрала. Марта и Иоганн стали мужем и женою.

А через два дня ближайшие окрестности Мариенбурга были заняты русскими отрядами.

Со стен осажденного города видели, как

Шереметьев с многочисленной свитой объехал вокруг, осматривая укрепления и назначая места для предстоящего штурма. Городку даже не предлагали сдаться на милость победителей. Зачем? Он был осужден на разорение. Русские дружины не могли пощадить город, оставив его бастионом для шведских войск, каким была еще и доселе находившаяся в тылу у русских Нарва. Боевая необходимость заставляла разрушить все до основания, и Шереметьев не замедлил начать свое ужасное дело.

Никогда ни прежде, ни потом, поднявшись из развалин, не испытывал несчастный Мариенбург того, что в эти дни. Со всех сторон летели к нему тучи ядер. Пушки вокруг гремели не смолкая, стены, не рассчитанные на долгое сопротивление, быстро обсыпались и разрушались. В городе вспыхивали пожары; треск и шум горевших зданий, рев пушек, отчаянные вопли женщин, — все сливалось в один хаос звуков.

И вдруг совсем близко от стен городка раздалось громовое «ура», вырвавшееся сразу из тысяч здоровых глоток: шли на штурм шере-

метьевские дружины.

— Последние времена наступают! — воскликнул пастор Глюк, стоя пред дверьми кирки. — Нет, попускает Господь, он карает нас за грехи; чувствую, не будет нашему городу спасения.

Он ушел в церковь и в жаркой молитве склонился пред алтарем. Марта осталась стоять у входных дверей.

IV

Овдовевшая новобрачная

Русские между тем подошли к городскому рву, быстро закидали его фашинником, перебрались под выстрелами осажденных на другую его сторону и по штурмовым лестницам полезли на стены. Сверху прямо на их головы осажденные бросали лавины камней, лили горячую смолу, кипяток, но все было напрасно. Часть штурмующих уже прорвалась через бреши за стены. Бой закипел на узких улицах обреченного городка. Начался ад: пылали улицы, разъяренные солдаты бросались в дома, убивая всех подряд. Улицы покрылись кровью...

— Марта! Марта! — вдруг услышала молодая женщина голос мужа.

Она вскрикнула. Зарево было так ярко, что ей удалось рассмотреть Рабе, бежавшего к дому пастора. Он был в крови, его одежда была изорвана, и голос прерывался.

— Я здесь, здесь! — вне себя от ужаса закричала Марта и очутилась около мужа в тот

момент, когда он, задыхаясь от быстрого бега и обессилив от потери крови, упал на крыльцо дома Глюка.

— Скорей, милый, скорей! — дрожа, говорила молодая женщина. — Двери нашего дома прочны. Мы спасемся.

Но она не успела втащить раненого.

На противоположном конце площади показалось несколько русских солдат.

— Ой, — крикнул один, — здесь еще, кажись, никто не бывал.

— Видно, что так, — ответил товарищ. — Поживимся.

— Вот их кирка! — выкрикнул третий. — Пойдем. Там, поди, набилось их, что клопов.

Солдаты, разгоряченные боем, вбежали в церковь и увидели коленопреклоненного пред алтарем пастора Глюка.

— Смотри, их поп, — вполголоса сказал один из русских.

— Вижу. Пришибем-ка его, молодцы!

— Оставь, не трожь! Хоть и не нашей веры поп, а все же Богу молится.

Эти слова подействовали. Как ни разгорячены были штурмом и бойней солдаты, свя-

тость места заставила их пощадить священника. Они тихо вышли из кирки, и тут опять ими овладела прежняя ярость.

— Смотри! — указал их старший на дом пастора Глюка. — Вот куда поганый немчин, за которым мы гнались, укрылся. Идем туда!

Они очутились у крыльца.

— Вот кровь, — раздались голоса, — тут он свалился.

— Я видел, как баба за двери его втащила! — крикнул кто-то.

— Коли так, ломай, ребята, прикладами! — и удары тяжелых прикладов градом посыпались на дверь пасторского дома.

Марта тем временем уже успела перевязать раны мужа. Они были не серьезны, но крови потерял он много. Страшные картины, которые проходили пред его глазами, вконец измочалили его нервы. Рабе плакал, как дитя.

— Ах, Марта, Марта! — восклицал он. — Что за ужас! Всюду смерть, кровь, пламя... Гибнут ни в чем не повинные... Ужас, ужас!..

— Я верю, что мы спасемся, — попробовала успокоить его жена. — Бог не даст нам погибнуть... Мы так молоды, мы любим друг друга,

судьба отнесет от нас весь этот ужас.

— Слышишь? — вскрикнул Рабе, хватая ружье и спешно заряжая его. — Это русские идут сюда.

В дверь застучали приклады.

— Они! — закричала Марта. — Русские!

— Не бойся! — ответил на ее крик муж. — Я защищу тебя... Я своими руками тебя убью, но ты им не достанешься!

Дверь поддавалась могучим ударам и соскочила с петель.

— Вот, вот они! — вбегая, закричали солдаты. — Вот немчин-супротивник, вот и баба...

Щелкнул ружейный выстрел. Рабе не промахнулся: один из солдат рухнул на землю. Тотчас же другие разразились яростным ревом.

— Коли его, бей прикладами! — заорал сержант. — Пусть знает, как наших бить!

— Негодяи! — кричал Рабе, но солдаты не поняли его. — Впятером на одного!..

Он бросил ружье, в его руках очутились пистолеты.

Марта, не помня себя от ужаса, упала к его ногам, цепляясь за его одежду.

— Один — им! — крикнул несчастный, стреляя в толпу. — Другой — тебе! — направил он пистолет на жену, но ближайший солдат ловко выбил оружие из рук Рабе, а его товарищ вонзил ему в грудь штык.

— Марта, я умираю! — раздался пронзительный крик несчастного, смешавшийся с воплем его жены.

В тот же момент еще несколько штыков вонзились в трепещущее тело; кровь хлынула из ран, тело подергивалось предсмертными судорогами, страшные хрипы вырывались из горла...

— И немчинку пришибить! — орали разъяренные неожиданным сопротивлением победители. — Вот ей сейчас!..

— Оставь, не трожь бабы! — крикнул сержант. — Не видишь, что ли, красotka... пригодится еще...

Солдатская добыча

Это были последние слова, которые слышала в тот вечер несчастная Марта Рабе. Страшная сцена убийства ее мужа так поразила ее, что она лишилась чувств.

Только с рассветом Марта пришла в себя. Ее голова болела, все тело ломило, она едва-едва могла пошевелить рукой.

— Эй, голубка, — раздался над ней ласковый мужской голос (Марта Рабе несколько понимала по-русски), — ишь как тебя наши ребята умаяли... Да ничего, ваше дело женское, то ли еще бывает.

Марта сделала попытку поднять голову. Это ей удалось не сразу. Голова была налита свинцом. Однако, кое-как приподнявшись, она увидела около себя сержанта, остановившего накануне разъяренных солдат. Он так и пожирал ее глазами. Марта взглянула на себя и увидела, что она была почти обнажена, — все ее платье в клочьях.

— Убейте меня, — простонала она, — убей-

те, ради Бога!

— Зачем убивать? — рассудительно ответил сержант, — таких, как ты, красоток не убивают... Может быть, через тебя я свое счастье найду... Вот на, выпей! — протянул он бедной женщине оловянный стакан, налитый до краев водкой, — выпей, говорю, легче будет.

Марта до того никогда не пила водки, да еще простой русской, но теперь ей было все равно. Если бы ей поднесли стакан с отравой, то она выпила бы яд, только бы перестало ломить тело, болеть голова, только бы на миг забыть пережитый ужас. Она не взяла, а схватила стакан и залпом опорожнила его.

— Молодец баба! — выкрикнул сержант. — Желаешь еще? Налью!

Огонь, а не кровь, побежал по телу Марты, сердце вдруг забилося, в голове зашумело, но боль уменьшилась.

— Налей! — ответила она.

— Изволь! Только больше не дам... Дело большое впереди...

Марта выпила еще и почувствовала себя легко, совсем легко...

С тех пор всю свою долгую жизнь оставалась она верна этому так быстро исцелившему ее средству. Оно стало ей дороже всего, и много лет спустя Марта Рабе, впоследствии носившая совсем другое имя, умерла от него...

Но губительный яд, несколько облегчив изможденную женщину, тут же и доконал ее. Непоборимая дремота смежила очи бедняжки, она заснула крепким, тяжелым сном.

Марта проснулась, разбуженная все тем же солдатом, который, видимо, взял ее под свою охрану.

— Ну-ка, сердешная, — будил он ее, — вставай, пойти нам нужно... Вот я тебе одежонку собрал; много у вас всякого добра накопилось, богато тут люди жили...

Он так и сказал: «жили», и от этого слова мороз пробежал по коже Марты: она поняла, что для Мариенбурга, как и для Вольмара, все кончено.

VI

На развалинах

Сержант показал ей на груди всякого платья, наваленную прямо на пол, и деликатно отошел в сторону. Марта сообразила, что нельзя послушаться, и стала перебирать одежду. Слезы капали из ее глаз. Она узнавала одежду знакомых ей мариенбургских женщин... Когда Марта совсем уже была одета, сержант возвратился к ней.

— Ишь ты, какая ладная! — с наивным восхищением восклицал он. — Этакой красоте, да пропадать... Разве это возможно? Ну, как тебя — я там не знаю, а будешь ты меня благодарить... Очутишься в счастье — не забудь, смотри! Вспомни, кто тебе его устроил... Идем же!

— Куда? — почти бессознательно спросила Марта. — Куда ты ведешь меня?

— А это увидим там; теперь-то я еще и сам не знаю, куда, — был суровый ответ.

Он вскинул ружье на плечо и заставил Марту идти впереди себя. Так они вышли из

дома, каким-то чудом уцелевшего от пожара, и первое, что бросилось в глаза бедной женщине, был отвратительный труп старухи. Ее голова была размозжена так, что узнать лицо было невозможно. Марта брезгливо обошла труп, даже и не подумав, что пред нею была ее воспитательница, сестра Эрнста Глюка...

Она шла, провожаемая сержантом, и не узнавала города. Там, где еще недавно высились опрятные, чистенькие домики с острыми черепичными кровлями, теперь чернели их уцелевшие от огня остовы, лежали бесформенные груды развалин.

Словно вихрь прошел над Мариенбургом и разом смял его. Развалины были всюду. Среди них догорало пламя, грудями валялись трупы мужчин и женщин, около которых запеклись лужи стусившейся уже крови... Но Марта теперь смотрела на все это равнодушно. После того, что пережила она сама, уже ничто не ужасало ее. Хмель после скверной водки, все еще бродивший в ее голове, приводил ее в состояние полнейшей апатии. Ей в эти мгновения все было безразлично... Хуже того, что уже было, быть не могло.

Сержант вывел ее из развалин, пред ними на поле белели палатки, и Марта сообразила, что он ведет ее в лагерь русских. Ее что-то резнуло по сердцу, но опять апатия преодолела все, и она не сказала своему спутнику ни слова. Он же шел, не обращая на нее внимания, зорко вглядываясь вперед.

В лагере было движение, доносились крики. Большая группа всадников рысью мчалась к разоренному городу.

Сержант остановил свою пленницу и, грубо схватив ее за плечо, сказал, глядя на нее злыми глазами:

— Слушай ты, немчинка! Никак сейчас поедет великий государев боярин... Во всем по-такай ему, что бы он ни пожелал, а ежели перечить будешь, так дух твой поганый из тебя вышибу!

Всадники быстро надвигались на них. Марта рассмотрела впереди нестарого человека, с бритой бородой и маленькими усиками. Он молодцевато держался на коне, но в то же время казался смешным в своем старомосковском одеянии и в высокой горлатной шап-

ке. Его спутники были кто в немецком военном платье, кто в прежних русских костюмах.

Едва кавалькада поравнялась с сержантом, тот, молодцевато выскочив вперед, отдал честь, согласно новому воинскому артикулу, и потом закричал по-старому:

— Государь-боярин, прикажи мне слово молвить!

Ехавший впереди боярин остановил коня, с любопытством взглядывая на стоявшую пред ним пару.

Это был сам главнокомандующий боярин Борис Петрович Шереметьев. Он ехал собственными глазами посмотреть, как обработали его воины Мариенбург, и докончить там разрушение, если что-нибудь важное случайно уцелело.

— Ну, говори, — милостиво сказал он, любясь Мартою, — что тебе от меня надобно?

— Дозволь челом тебе бить, государь-боярин, — смело заговорил сержант. — Поработали мы вот здесь до пота лица во славу его царского величества и на защиту веры православной, а при дележе досталась мне в добычу вот эта самая немецкая баба... А куда мне

ее? Сам, поди, знаешь, какое наше солдатское житье-бытье... Сегодня — здесь, а завтра — там, сегодня — жив, а завтра — мертв...

— Чего же ты от меня-то хочешь? — нетерпеливо перебил сержанта боярин. — Говори скорее!..

— Дозволь тебе челом бить этой немчинской бабой. Ежели не возьмешь ее к себе, одно остается: пришибить. А жаль все же: как ни на есть, а Божья живая тварь, хотя и немчинка.

Шереметьев несколько раз оглядел пленницу. Суровый он был человек, но человеческое ему не было чуждо. Вспомнил он оставленную в Москве семью, жену, на свидание с которой не пустил его царь «прежде окончания дела», и жаль ему стало эту красивую женщину.

— Ну, ин быть по-твоему! — ласково сказал он сержанту. — Пожалуй, у тебя возьму ее, пока сам я здесь, для услуг... Потом же пусть она на все четыре стороны идет, куда глаза глядят... Сведи ее ко мне на кухню, пусть там пока побудет, и сам останься, пока не вернусь я... С Богом, господа кавалеры! — крикнул он

свите и, еще раз взглянув на мариенбургскую пленницу, погнал вперед коня.

Марта не сказала ни слова, но понимала, что в ее жизни совершается новая важная перемена. По крайней мере теперь она освобождена от мучителей-солдат, и это уже радовало ее, хотя на кухне у боярина разве немногим будет лучше. Сержант же между тем чуть не плясал, идя за Мартой через поле; он стал снова ласков с ней.

— Смотри же, — сказал ей, — ежели мне что от тебя понадобится, так не забудь за меня боярину словцо закинуть.

Марта ничего не ответила. Да и что могла ответить она?..

Боярин Борис Петрович хотя и онемечился, и снес себе бороду, и привык к едкому голландскому кнастеру, все же сохранил много замашек дедовской старины. В далекий поход он шел, волоча для одного себя порядочный обоз, и главное место в этом обозе было отведено его боярской кухне. Любил боярин покушать. Много ездило за ним по разоренной стране поваров, стряпок и всякой челяди, нашлось среди нее место и новой служанке —

мариенбургской пленнице Марте Рабе.

VII

Старый знакомый

Сержант, доставивший ее на боярскую кухню, остался ожидать возвращения боярина с осмотра мариенбургских развалин. Он оказался веселым, разбитным парнем, но его постоянно бегавшие глаза, не останавливавшиеся подолгу ни на чем, выдавали, что на совести у него не совсем чисто. Будто прикрывая свои мысли, он болтал без удержу, смешил кухонную челядь и очень скоро стал среди нее своим человеком.

— Как зовут-то тебя? — спросили его.

— Вот тоже, нашел, у кого спрашивать! — ответил сержант. — Я-то почему знаю?

— Как? Своего имени не знаешь?

— А то что же? Откуда мне это известно может быть, ежели я и отца с матерью не помню? Надо полагать, я при дороге под кустом родился.

— Крестил тебя поп-то?

— И это мне неизвестно: ежели крестил, так он мне про то не сказывал.

Все эти ответы вызывали оглушительный смех у невзыскательных слушателей.

— Чудной парень! — говорили они. — Так ведь как же-нибудь тебя зовут?

— Зовут, зовут! Кочетовым сыном прозвали. Промеж своих в полку так за Кочета и иду. Вот мое имя. Ежели угодно, им и величайте, а другого у меня и в завете нет.

Действительно, это был тот самый Кочет, который за десять лет пред тем подсматривал через окно вместе со своим закадычным другом Телепнем за юным царем Петром, когда тот занимался у пастора Кукуй-слободы анатомией, изучая по скелету строение человека. Потом он мучился на дыбе, выдержал немалую пытку и, оправившись после нее, сумел устроиться так, что очутился в рядах новых войск. Кочет был еще молод, пытка не оставила на нем видимых следов, служил он усердно и довольно скоро успел добраться до чина сержанта. Нельзя сказать, чтобы товарищи по полку любили Кочета, но он держал себя так, что они повиновались ему во всем, и среди них он пользовался полным авторитетом. Кочет сам напросился в отряд, боярина Шере-

метьева и во время военных действий сумел отличиться так, что был не раз замечен даже самим главнокомандующим.

— Чего ты стараешься? — спрашивали Кочета. — Ведь этакий ты пострел, везде-то поспел!

— А как же иначе? — обыкновенно отвечал тот на такие вопросы. — Счастье — что птица, так вот я хочу его за хвост поймать! — И он упорно продолжал свой путь к какой-то определенной, давно им намеченной и одному ему известной цели.

Человек уж так устроен, что если его охватит какая-нибудь навязчивая мысль, то он так и живет всю свою жизнь под ее властью, стремясь только к тому, чтобы выполнить свое страстное, порою совершенно невозможное желание.

Под властью такой мысли жил уже много лет и Кочет.

Когда-то, еще во времена возмущения Шакловитого, он был взят в розыскной приказ по обвинению в хулении высочайшей царской особы.

Давно это было, а словно вчера: немецкая

слобода, дом пастора, освещенное окно, и в глубине комнаты юный царь Петр Алексеевич перед человеческим костяком.

— Дурак, экий я дурак! — ругал себя теперь Кочет за ту глупость: чуть было не погубил и слободу, и Москву, и себя, бестолкового! Телепень-ка увалень скрылся, а он, ловкий, попался! И теперь спина чешется, как кнут вспомнит, и сейчас к непогоде руки от дыбы ломит. Еще хорошо, что тогда в приказе не взялись за него по-настоящему: постегали, подвесили, пошпарили пылающими вениками, а потом и бросили, — «глупый парень, возиться с ним нечего»...

Очутившись на свободе, Кочет запылал дикой ненавистью к неповинному перед ним царю Петру и страшной клятвой пообещал сам себе быть ему врагом во всю свою жизнь...

Кочет, хотя и давал такую опрометчивую клятву, был настолько умен, чтобы сообразить, что такое ничтожество, как он, не может причинить решительно никакого зла великому государю, и поэтому начал стараться создать себе такое положение, при котором

он мог бы очутиться поближе к Петру. Он поступил добровольно в его новые войска, служил ревностно, выделялся своей исполнительностью и храбростью, и наконец ему показалось, что он близок к осуществлению своих мечтаний: красивая пленница, боярин Шереметьев, близкий к царю Петру человек, помогут ему.

И он как будто не ошибался...

VIII

Новый властелин

Боярин Шереметьев запомнил о встрече на дороге и, как только возвратился в стан, сейчас же потребовал к себе Кочета и его пленницу.

Долго и внимательно рассматривал он Марту, рассматривал так, что взор ее то и дело потуплялся от стыда, а щеки заливал яркий румянец. Видно, в конце концов Борис Петрович остался очень доволен этим осмотром.

— Ну, добро, добро! — несколько раз повторил он. — Счастье твое, красавица, быть может, пришло к тебе. Ты — вашего попа дочь, говоришь?

— Воспитанница.

— Ну, какая там воспитанница! Ваши попы не польские ксендзы, попадья-то у них под боком, а ведь этот Глюк-то твой вдовый.

— Да, вдов он.

— То-то! Я его изловить приказал. Да ты не бойся, чего запугалась-то? Ежели он уцелел,

так мы ему худа не сделаем. Только ты всем говори — слышишь? Всем, кто бы ни спросил тебя, что ты — поповская дочь. Жаль, что твой батько не архиереем был, это еще гораздо лучше было бы. Ну, да ты говори всем, что твоя мать знатного рода, дескать, у нее в числе дедушек и прадедушек шведские короли были. Понимаешь? Пусть там какой-нибудь шведский Густав или Эрик твоим прадедом будет. Ври и не красней, ежели себе добра хочешь!

Боярин так расчувствовался, что даже не заметил, как жадно вслушивается Кочет в каждое его слово.

— Ну, иди, иди! — махнул он рукой пленнице. — Помни, что я тебе сейчас сказывал, я же о тебе большое попечительство буду иметь. А так как ты у солдатушек-озорников моих побыла, то, как все обдумаю, для возвращения чести поставлю тебя под знамена, чтобы никто тебя после корить не смел... Теперь же иди, отдохни, тоже досталось ведь.

Марта, поклонившись, вышла.

— А тебя, — обратился боярин к Кочету, — я пожалую... Твоя служба не пропадет.

— Благодарствую тебе, боярин, — поклонился в пояс Кочет, — взыскиваешь ты меня, безродного.

— Погоди благодарить-то, скажи прежде, чего бы тебе хотелось, а я там посмекаю, можно ли устроить сие для тебя или нет.

Кочет переминался с ноги на ногу, не решаясь высказаться.

— Ну, чего же ты? Не держи меня! — выкрикнул Борис Петрович.

— Да вот, боярин-государь, сплю я и во сне вижу, чтобы в гвардии мне служить. Кабы ты словечко замолвил обо мне пред царем!

— Ишь ты какой! — усмехнулся Шереметьев. — Служил в стрельцах-сорванцах, а теперь в первое царское войско захотел? Про тебя ли такая честь?

— Да уж там как ты надумаешь, боярин, — нагло глядя на Шереметьева, ответил бывший стрелец. — Приказал ты мне, чтобы я сказал тебе, что мне хочется, так я свое желание и высказал.

Шереметьев засмеялся.

— Ишь ты, ловкач! — проговорил он. — Поймал-таки меня на слове! Ну, быть по-тво-

ему! Подумаю я о тебе, посмекаю, нельзя ли что и сделать, а теперь пойдй на кухню до покормись там.

Он милостиво махнул ему рукой, и Кочет, довольный удачей, с поклонами вышел из шатра боярина.

А в кухонных палатках уже шел дым коромыслом. Каким-то путем пришла и разнеслась повсюду весть о том, как встретил новую пленницу всемогущий боярин и как милостиво говорил с ней.

Марту, по возвращении ее от Бориса Петровича, встретили особенно. У нее уже были и друзья, и враги, и благожелатели, и завистники, и хулители, и льстецы. Вымуштрованная и понимавшая каждый оттенок голоса своего господина, дворня чувствовала, что за милостивыми словами боярина кроется нечто другое, что, может быть, не сегодня завтра красивая пленница будет сильнее всех при Шереметьеве, и загодя старались на всякий случай снискать ее благоволение.

Когда в кухонные шатры пришел Кочет, там шел дым коромыслом. Марта, порядком проголодавшаяся во весь этот день, с тупой

покорностью отдалась судьбе. Она не вспоминала о пережитом ужасе, а, может быть, и вспоминала, да старалась подавить в себе всякое воспоминание. Пред нею стояли блюда с вкусными яствами, кубки со всевозможными напитками, и Кочет, едва взглянув на ее покрасневшее лицо, на подернутые пеленой глаза, сразу сообразил, что Марта сделала большую честь последним.

А боярин Борис Петрович Шереметьев еще долго-долго расхаживал большими шагами по своему шатру. Видимо, думы всецело овладели им, роились вокруг него.

— Да, — иногда шептал он, — так-то так, а только без этого мерзавца Алексашки ничего тут не поделаешь. Счастье еще, что он Монсову Анку терпеть не может, на сем его и изловим. Вот придет он, так посмотрим, что и как...

Даже улегшись в свою походную постель, долго еще не засыпал боярин: слишком уж много было у него всяких дум.

IX

Высокий гость

Русские войска не уходили от разоренного Мариенбурга.

Собственно говоря, в Лифляндии все их дело было окончено. После поражения при Гуммельсгофе отряды Шлиппенбаха даже не осмеливались показываться в поле. Страна вся была опустошена до самого Пернова, Риги и Ревеля. «Не осталось целого ничего, все разорено и сожжено», — доносил Шереметьев Петру, который сам ему приказывал «как возможно землю разорить, дабы неприятелю пристанища не было и сикурс своим городам подать было невозможно», — «и в болотах ничего не осталось», — отвечал на это Шереметьев.

Делать в Лифляндии было больше нечего, и Шереметьев только и ожидал царского повеления как можно скорее покинуть разоренный край, в котором и самим победителям угрожали теперь бедствия голода. С таким повелением в лифляндский отряд был послан

Александр Данилович Меншиков.

Он прибыл в шереметьевский лагерь под Мариенбургом и был встречен родовым боярином, как дорогой и любезный друг.

Вначале о деле говорили мало, да и нечего было особенно говорить. Царь повелевал Шереметьеву отойти к Пскову и высказывал ему свое благоволение.

— Ну, — обрадовался было Борис Петрович, — как только приведу в Псков полки, сейчас у царя на Москву отпрошусь.

Меншиков даже расхохотался.

— Чего это ты? — удивился Борис Петрович.

— Так, друг! — был ответ. — Напрасно ты себя такой надеждой тешишь.

— А что? Зазимуем под Псковом?

— Отложи попечение! Наслышан я, что в другое место лететь придется.

— Да ну? Куда?

— О том не осведомлен. Одно тебе скажу потайно: зимовать не под Псковом будем.

Шереметьев так и затуманился.

— Ахти, беда! — сказал он. — Притомился я тут за военным делом, сплю и вижу, как бы

на родимой Москве побывать!.. Но ежели царю нужна моя служба, так что поделать? Дело допреж всего, а отдыхи и радости потом.

На этом пока разговор кончился. Боярин повез гостя сперва к развалинам Мариенбурга, а потом устроил парад войскам.

Во время парада с толпой шведских пленников была подведена под полковые знамена и Марта Рабе.

Меншиков или боялся Шереметьева, или искал его помощи, но только с ним он был на редкость ласков и почтительно вторил ему.

После осмотра Шереметьев хотел было шумным пиром отпраздновать приезд важного гостя, но Меншиков, намекнув, что времени остается у них мало, а им нужно с глаза на глаз поговорить о деле первой важности, предложил покормиться запросто, как военным людям полагается, и во время трапезы обменяться мыслями с радушным хозяином.

— Только ты так устрой, боярин Борис Петрович, — сказал он, — чтобы нашего с тобой разговора ни единая живая душа не слышала.

— Или и в самом деле важное что-либо? —

спросил Шереметьев.

— Да уж на это как ты, боярин, взглянешь. Важное или неважное — сам суди, а при разговоре нашем и сам того не заметишь, как лишним словом обмолвишься. Что же такое лишнее слово, ты лучше меня знаешь. Немало людей из-за таких слов у князя-кесаря в лапах побывало.

Шереметьев понял, что такой пройдоха, как Меншиков, недаром предпринимает подобные предосторожности, и, стало быть, то дело, о котором он хотел говорить с ним, — чрезвычайно тайное и представляет собою большую государственную важность.

— Ин быть по-твоему, Данилыч, — ответил он. — Устрою я, как ты желаешь. Ни лишний глаз нас видеть не будет, ни лишнее ухо речи не услышит. Есть у меня тут девка пленница, в Мариенбурге взята. По-нашему она ни слова не понимает, все равно, что немая. Так вот я и скажу ей, чтобы она за столом прислужила и все нам подавала. Других в шатре никого не будет. Снаружи караулы поставлю, так никто близко не подойдет. Только мы сперва потрапезуем чем Бог послал, а потом, как за чарки

примемся, так и разговор поведется.

На том и порешили.

Трапеза была обильная, но и гость, и хозяин ели лениво. Видимо, далеко были их мысли. Шереметьев подробно рассказывал о своих походах, восхвалял мудрость государя, и после погрома под Нарвой не утрашившегося Карла. Меншиков ограничивался только поддакиванием и с нетерпением ждал, когда можно будет начать столь желанный ему разговор.

Х

С глазу на глаз

Когда обед был покончен, Шереметьев вышел отдать распоряжение. Из кухонных шатров была прислана Марта Рабе. По приказанию боярина, она была роскошно одета, красиво причесана; румян ей не нужно было — и без того ее щеки пылали. Боярин внимательно оглядел ее и тихим шепотом отдал ей приказание:

— Будешь нам служить, не моги слушать, что мы говорим, а ежели гость от тебя что требует, так исполняй все беспрекословно. Да на тот случай, ежели он тебя спросит, кто ты и какого рода, так ответствуй, как я тебе приказывал. Ослушаться осмелишься, будет тебе беда.

После этого он вернулся к Меншикову.

— Ну, теперь все сам усмотрел, Данилыч, — сказал он, — сейчас нам такое вино подадут, какого, пожалуй, и за рубежом мы не пивали. Здесь, в городишке, награбили. Как прикатали бочки, да взглянул я на них, так

сердце и выиграло: столь долго бочки в погребе стояли, что поверху мхом поросли.

— Нда, — рассеянно сказал Меншиков, — надо полагать, хорошее будет вино.

В это время вошла в шатер Марта Рабе, вся покрасневшая от смущения. Она несла поднос с кубками и чарками и с низким поклоном поставила его на походный стол перед собеседниками.

— Что, Данилыч, каков кус-то? — легонько толкнул хозяин гостя в бок. — Взгляни-ка! Ты в бабах толк-то знаешь больше меня. По-моему, картина писаная.

Меншиков быстро вскинув взор на Марту, слегка вздрогнул и уставился на нее своим наглым взглядом, видимо, восхищенный и пораженный.

— Что? Хороша? — усмехнулся Шереметьев, заметивший, какое впечатление произвела на гостя его пленница.

— Откуда она у тебя, боярин? — воскликнул Александр Данилыч.

— Да я ж говорил тебе: здешняя. При разорении в полон взяли... Слышь, Данилыч, королевского рода.

— Будто?

— Кто их там знает? Говорят! Пасторова дочь. Как брали, так проклятые озорники-солдатушки малость потрепали ее... Ну, да это ничего! Не погано море, ежели из него собаки лакают, а такой красоты на любой век хватит. Да к тому же я ее для возвращения чести под знамена подвел... Сегодня была, ты-то, кажись, не заметил... Ну, уходи, ты! — крикнул он по-немецки Марте. — Не смей без зова появляться!

Марта вышла, поклонившись и гостю, и хозяину.

— Ну, Данилыч, рассказывай, что у тебя такое. С нетерпением жду.

Меншиков встрепенулся.

— Ах, да, — сказал он, — поразвлек ты меня, Петрович, и все мысли, которые собирались у меня, разлетелись... Истину тебе говорю.

— Что? — со смехом заметил ему хозяин. — Или уж тебе моя немчинка так по сердцу пришла?

— Не то, Петрович, не то. Сам, поди, знаешь, видал я такого добра немало; чем дру-

гим, а этим меня не удивишь.

— Так что же тогда?

— Да то, что все мои мысли, которые я доселе имел, на новый лад перевернулись. Вот ежели теперь закрыть глаза, так то, что надумано, совсем инако представляется.

— Разве? — спросил Шереметьев. — Так ты мне, друг сердечный, и поведай без утайки, что ты допрежь всего думал и что теперь. Таиться тебе от меня нечего; знаешь, поди, люблю я тебя, как брата, и не мне тебе зла желать.

Борис Петрович говорил это, а его взоры так и пронизывали гостя, как будто старались проникнуть в самые сокровенные его помыслы.

— Ин будь по-твоему, боярин! — сказал Александр Данилович и даже слегка стукнул кулаком по столу. — Верю я тебе и душу открою. Если потом вздумаешь предать меня, так Господь покарает тебя, как Иуду. А, все равно!.. Вот что я хотел сказать тебе: государь-то неладное задумал...

— Что еще такое ему в голову пришло? Опять новшество?

— Да еще какое! Если до этого новшества Петра Алексеевича допустить, так ему, пожалуй, и на престоле не усидеть.

— Да что ты, Алексаша! — воскликнул Борис Петрович. — Пугаешь ты меня! Уж не разума ли лишился государь?

— А вот ты послушай да сам посуди. — Меншиков совсем склонился к хозяину и заговорил так тихо-тихо, что Борис Петрович едва улавливал его шепот. — Задумал государь на Монсовой Анке жениться, и ежели женится, так не потайно, а въяве, и станет она над нами царицей. Вот что он задумал.

— Не ново это: не раз уже болтали такое-то, да все одна болтовня была.

— И мне ведомо, что болтали, — возразил Меншиков, — да только прежде болтали зря, а теперь государь сам про это дело говорит и твердо на нем стоит. Сам, поди, знаешь: на чем упрется государь, с того его не сдвинешь. Вишь ты, наследник у него ненадежен, так для продолжения рода жениться он хочет; а от этого действия великие беды могут последовать для народа, а более всего для нас — для тебя, Петрович, для Репнина князя, для Долго-

руких, Апраксина, а про себя, нового человека, я не говорю. Такое может выйти дело, что все наше государство погибнет. Вот что выйдет!

— Если смута, — раздумчиво произнес Шереметьев, — так действительно большая будет. Только что же смута-то? Не впервой ведь нам нашу землю кровью заливать! Справлялись со смутьянами — и впредь справимся. Святая православная церковь за нас будет. Прежде, пожалуй, против такого действия патриарх заговорил бы, а теперь кто голос подымет? Степка Яворский, местоблюститель патриаршего престола? Так он из тех, которые на лисьем наречии говорят. Прикажи ему государь завтра весь наш народ в турецкую веру перевести — он и переведет. А потом кто? Феофашка Новгородский? Так тот больше бражничает да о себе заботится... То же лиса большая. А из ближних бояр немногие пойдут и правдивое слово скажут...

— Вот я-то и говорю, — перебил его Меншиков: — если тут напрямую идти, сразу все погубить можно. А Монсова Анка, поди, сам знаешь с Францком Лефортом еще раньше ца-

ря путалась. Сама она глупа, только и умеет, что вымогать, и Францка ее на вожжах вел.

— Так ведь он умер.

— В том-то и дело, что ему на смену другой явился: граф Кенигсек из Польши. Он эту Анку так взнуздал, как и Францку не удавалось. Что он только захочет, то она и творит, а по ее и государь делает. Отчего, Петрович, ты думаешь, у нас такая дружба с Августом Польским повелась? — Это — Анки Монсовой дело, она Петра Алексеевича в польскую дружбу втравила, а ее на это оный Кенигсек науськал. Она с его голоса в дудочку играет, а наш государь под эту дудочку и пляшет. Так вот ты и посуди обо всем! Уж теперь мы не знаем, как беду изжить, а если Монсова царицей будет, — тогда-то что? Ведь оный Кенигсек царствовать над нами будет и, конечно, прежде всего нас, верных слуг подберет.

ХІ

Перекрещенка

Шереметьев хорошо знал все, что делается около царя Петра. То, что говорил ему Меншиков, вовсе не было новостью для него, и он сам не раз задумывался над тем, что может выйти, если Анна Монс будет женой царя и у нее пойдут дети, которых она так старательно избегала во все эти годы. Но, зная это, Борис Петрович, несмотря на свою близость к государю, чувствовал себя совершенно бессильным. Что он мог поделать? Перечить Петру он не смел: ведь и не такие, как его, головы летели за попытки перечить государю. Но этого еще не так боялся Шереметьев. Он был русский человек и любил родину; знал он, что таких, как он, немного остается, а если и эти последние будут выведены, то от выскочек, вроде сидевшего пред ним Меншикова, трудно ожидать добра для русского народа. Поэтому рисковать собою Шереметьев не хотел.

В новшествах государя Борис Петрович не

видел ничего серьезного и опасного для России. Бритье бород, переодевание в иное платье, курение проклятого зелья — табака, — все это, по его мнению, было пустяками; но в то же время он в переустройстве государственного быта видел много полезного. Так, под Нарвой он убедился, что новые войска по своей стойкости нисколько не уступали шведским войскам; переустройство приказов также было полезно для России; заведение флота было благодетельной мерой, точно так же, как и стремление к морю, через которое можно было свободно вести внешнюю торговлю. Но он не мог примириться, чтобы место чистой, непорочной русской царицы Евдокии на престоле заняла немецкая баба; обманывавшая его, государя, может быть, и не с одним только Лефортом. Поэтому он был рад, что Меншиков, близко стоявший к государю (как Басманов-сын был близок к Ивану Грозному), заговорил об Анке Монс. Конечно, Меншиков и не думал о благе России: он просто стремился уничтожить опасного врага. Но ведь и это было хорошо: в конце концов фаворит проклятый стремился к той же цели, к ка-

кой направлял свои помыслы и сны Шереметьев.

Но все-таки нужно было заставить Меншикова высказываться более определенно.

— Выпьем-ка, друг сердечный! — перебил разговор боярин. — Эх, хорошо винцо!.. Только надо кубки переменить.

Он захлопал в ладоши. Вошла Марта, и Борис Петрович приказал ей подать вина снова.

— Как зовут-то ее? — спросил Меншиков, кивая головой на молодую женщину.

— Марфушкой, — ответил Борис Петрович. — По-ихнему — Марта, по-нашему, значит, — Марфа.

— Нехорошее имя, боярин! — воскликнул Александр Данилович.

— А почему так?

— Да ты бы ее еще Софьей назвал. Знаешь, поди, кого Марфой-то зовут? Государь, как услышит это имя, чернеет весь... Солоно ему и эта сестрица пришлась!..

— А ведь правда! — согласился Шереметьев. — Да и голова у тебя, Алексаша!.. Быть по-твоему! Попало ей, как ее в плен брали, так пусть она, в память святой Екатерины ве-

ликомученицы, Катькой называется.

— Ну, вот это дело! — одобрил Меншиков. — Государь свою тетку, царевну Екатерину Михайловну, всегда жаловал. Катька, так Катька. Немчинскую девку и без попа перекрестить можно.

Марта принесла новые кубки. Фаворит не спускал с нее взора, и наблюдавший Шереметьев видел, что во взглядах Меншикова горела не животная страсть, а что-то другое. И он понял, что неожиданный союзник не только стремится к той же цели, как и он, но и путь к ней выбирает тот самый, который надумал боярин после первой ночи с мариенбургской пленницей. Исполнялось все точь-в-точь, как наметил он, и душа Бориса Петровича ликовала.

Между тем Меншиков воскликнул:

— Ай в самом деле хороша! Не принято чужое добро в глаза хозяину хвалить, да правды как же не сказать? Так вот, Петрович, излил я пред тобой душу мою; суди меня, как знаешь...

— Не до конца ты душу-то излил! — возразил Шереметьев. — Не все сказал. Ты вот от-

крылся бы мне, какое же средство придумано тобой, чтобы отвратить нашего государя от кукуевской прелестницы?

— Да какое же? Думал я сперва о простом, но самом верном средстве... Мало ли что бывает... Ну, предположим так: Анка возьмет с кого-нибудь гостинец, а дела не сделает. Так ведь если человек от неудачи в гнев придет, то все равно, что безумным делается, и в гневе так может изобидеть, что вместо «Исаия ликуя», — с нехорошей улыбкой сказал Александр Данилович, — «вечную память» попам петь придется.

— Ну, это ты, Алексаша, оставь! С глаз таким средством уберешь, а из сердца не вытравишь...

— Так ведь я тебе, Петрович, и сказал, что то мои старые мысли были, а теперь у меня новые явились. Надумал я, как Монсову Анку из царева сердца вытравить, и я не я буду, если своего не добьюсь; только мне твоя помощь нужна...

— Ну-ка, ну-ка, скажи!

— А помочь обещаешься?

— В таком-то деле? И спрашивать тебе не

надобно, сердечный друг! Прикажи только — весь я твой.

— Ну, так вот! Уступи ты мне эту девку Катьку?

— Какую? Что кубки приносила?

— Ее, ее! Не для себя прошу, а для дела, Петрович...

Шереметьев возликовал: Меншиков готов сделать как раз то, чего добивался он. Однако он не подал вида, что догадывается о замыслах временщика.

— Больно девка-то хороша! — сказал с сожалением. — Да и у меня она еще недавно...

— Для дела, Петрович, для дела. Увидишь сам, что будет!

И, сказав это, Меншиков вопросительно поглядел на задумавшегося боярина.

Несколько минут они молчали. Шереметьев по привычке, от которой он не мог отстать, почесал затылок, потом вдруг воскликнул:

— Эх! Быть по-твоему, Данилыч! Ежели для дела, так не жалко мне. Бери Катьку из полы в полу и действуй, как надумал.

— Боярин! — вскочил и протянул к нему

объятия Меншиков. — Ты своим согласием спасаешь Россию, нас спасаешь...

— Ну полно, полно! — добродушно возразил ему Шереметьев. — Если так спасать, то не велика заслуга. Бери Катьку, Данилыч, бери! Слаб у меня ум; совсем я не смекаю того, что ты задумал, а чувствую, что выйдет хорошее дело. Когда она надобна тебе?

— Приказано мне государем, — ответил Меншиков, — возвращаться нисколько не медля, так завтра утром я выеду во Псков. Ее же, Катьки, я с собой не возьму, а ты день спустя пошли ее мне вслед да караул приставь, чтоб не сбежала...

— Спокоен будь, Данилыч! Исполню все, как ты желаешь. Доставлю Марфушку... Тьфу, тьфу!.. Катьку, то есть. Так ты заночуешь? Добро! Я пошлю Катерину тебе постель сделать. А теперь довольно разговоров. Выпьем за твой успех! Делу время, а потехе час.

Все было приготовлено у радушного хозяина, чтобы повеселить гостя. Уже поздно ночью разошлись хозяин и гость, и вплоть до рассвета ключом кипел около них веселый, шумный праздник.

XII

На пути к счастью

С трудом припоминала Марта Рабе то, что случилось в последующие дни. Хорошо ей жилось на боярской кухне среди ухаживавшей за нею челяди. До сей поры строго держала ее в руках сестра пастора Глюка; она была сурова, как вообще суровы все старухи, да притом еще была пропитана до мозга костей святошеством и ханжеством. Пасторский дом казался ей чем-то особенным, чем-то таким, где все, от мала до велика, должны были находиться постоянно в особенном елейном виде, говорить не иначе, как возводя взоры к небу и пересыпая речь всевозможными текстами из Писания. Смех, веселость, даже самая невинная шутка строжайше преследовались и изгонялись. Не принимались во внимание ни молодость, ни темперамент.

Марта под надзором старухи жила строже, чем в монастыре. Замужество манило ее потому, что в нем она видела освобождение от строгостей, и вдруг она очутилась на свободе,

на такой свободе, какая ей и во сне не снилась. Жизнь вокруг нее кипела, ключом била — ведь это была жизнь военного лагеря, где каждый жил днем нынешним. Елось вкусно и сытно, пилось вдоволь, и вина были такие сладкие, что и самое опьянение после них казалось райским блаженством.

Меншиков действительно уехал под утро, расцеловавшись с Шереметьевым. Борис Петрович, правда, после этого губы отер и долго плевался, но Алексашке слаще меду казались эти поцелуи родовитого боярина. Как ни недоверчив он был, как ни подозрителен, а все-таки уверовал в искренность боярина, не заметил того, что сам-то он явился в его руках послушным орудием.

Под вечер этого же дня Борис Петрович приказал позвать к себе Кочета.

— Ну-ка, Кочет, — сказал он, когда тот явился на его зов, — просил ты меня, чтобы я тебя пожаловал... Случай подходящий выходит, и сам я не прочь от сего.

— Постарайся, боярин! — шустро ответил Кочет. — Век не забуду твоей милости, вер-

ным слугой буду.

— Спасибо на том! Только на многое ты не надейся.

— Да мне бы, боярин, зацепочку малую, а там я и сам сумел бы.

— Вот и будет у тебя зацепочка, да, пожалуйста, и не малая, а великая. Только сам старайся!

— Рад стараться, боярин. Глазом моргни — все сделаю.

Должно быть, Кочет нравился Шереметьеву, а может быть, ему и нужен был верный человек, шустрый, разбитной. Милостиво глядел на него боярин и столь же милостиво объяснил, что ему требуется от стрельца.

— Поедешь ты в Псков город, — сказал он, — и должен ты туда отвезти Марфушку, вон ту самую, которой ты мне поклонился. И так отвези ее, чтобы непременно она была доставлена. Береги ее больше зеницы своего ока. Сможешь?

— Еще бы не смочь, батюшка-боярин? Предоставлю, куда прикажешь, хоть в самое Москву.

— В Москву не надобно; в Москву, — зага-

дочно усмехнулся Шереметьев, — другой найдется ее отвезти. Ты только во Псков доставь. Возьми караул... Таких товарищей подбери, на которых ты надеяться бы мог, а в Пскове сдашь бабу при моем письме самому Александру Даниловичу Меншикову.

— Боярин милостивый! — воскликнул Кочет. — А ведь и на самом деле зацепку ты мне даешь не малую!

Шереметьев опять усмехнулся.

— Говорил я тебе, — сказал он, — только уж ты сам свое счастье за хвост лови. Сумеешь поймать — в гору пойдешь, не сумеешь — себя виновать. А в письме-то я про тебя нарочно помянул.

Кочет так расчувствовался, что даже бросился к ногам боярина.

Ему было приказано явиться с wybranными им товарищами на следующее утро. Кочет ушел в лагерь радостный. Но на его губах змеилась такая улыбка, что, если бы увидел ее Борис Петрович, он, наверное, призадумался бы...

На другой день по дороге от русского лаге-

ря и Мариенбурга к русской границе уже двинулся небольшой поезд. Впереди шли солдаты в походной форме, сзади них тряслась колымага, а в ней крепко спала мариенбургская красотка. Рядом с колымагой шли двое солдат; один из них был Кочет. За колымагой двигалось несколько подвод, нагруженных провиантом; тут же ехали солдаты, которые должны были сменять пеших конвоиров. Путь совершался беспрепятственно. Кочет был весьма предупредителен к Марте, шутил с ней, и они частенько выпивали, так что Марта почти не замечала пути.

Как-то им пришлось заночевать в поле. Разожгли костры, ночь была сырая (стоял конец августа), и солдаты были рады погреться около веселого пламени. Тут впервые Марта заметила какого-то нового человека. Это был высокий, мускулистый парень с глуповатым лицом. Приглядываясь к нему, она заметила, что этот парень был хорошо знаком с ее другом и покровителем. Кочет разговаривал с ним так, как будто знал его давным-давно.

Марта спала целый день и теперь к ночи

не могла заснуть. Она видела, как разбрелись к подводам солдаты и у костра остались только Кочет да парень в крестьянской одежде. Ночь была тихая, лунная. Марта потихоньку выбралась из колымаги: ей хотелось движения, хотелось ходить, но она боялась, что Кочет не пустит ее из возка. Выбравшись потихоньку, она сперва прошла по полю, потом, обойдя круг, очутилась в леске, на опушке которого был разложен костер.

Тут девушке вдруг сделалось страшно, ее невольно потянуло к людям. Недолго думая, Марта Рабе пошла туда, где сидел Кочет со своим знакомцем, но подойдя совсем близко, остановилась.

Кочет и его собеседник, уверенные, что их никто не слышит, говорили вполголоса, насколько не стесняясь.

— Да, Телепень, да, — произнес сержант, — наступает и наше времячко расквитаться с злым ворогом и послужить еще раз матушке-царевне.

— Что ж, и послужим! — ответил Телепень. — Я к тому не прочь.

— Знаю это, друг, потому-то и говорю я с

тобой. Не испугался ты труда, пришел на-
встречу ко мне, так я и впредь на тебя наде-
юсь.

— Надейся! Не прогадаешь! А только, что
делать надо, скажи?

— Да ничего пока. Я так устроился, что за
великие свои заслуги в гвардию попаду, —
иронически засмеялся Кочет. — Совсем близ-
ко буду от нарышкинского антихриста. И вот
тогда, как только случай выдастся, себя не по-
жалую, а в затылок ему пулю всажу: не забыл
я ни дыбы, ни плетей, ни паленых веников.
Мал я человек, да велика моя злоба... Из за-
стенка до гвардии я добрался, и во все-то эти
годы только об одном и думал, как бы мне с
врагом расплатиться. Чего мне себя-то жа-
леть? Один я. Так все равно.

— А мне что делать? — спросил Телепень.

— Будь всегда ко мне поближе, и ты пона-
добишься, а пока делай, что делал. Трещи
всюду, как стрекоза, что, дескать, не царь у
нас, а антихристово порожденье.

XIII

Тайные враги

Марта плохо помнила, что говорили люди. Но, услышав последние слова, не на шутку испугалась. Как только помянули царя, то она сообразила, что если двое собеседников узнают, что их подслушали, ей придется плохо. Она потихоньку, крадучись, отошла прочь, пробралась в возок и там постаралась забыть то, что ей удалось услышать.

А если бы она осталась, то услышала бы и другое...

К Телепню и Кочету присоединился еще один человек, по виду простец, но с гордым, выразительным лицом.

Этот третий был боярский сын, Михаил Родионович Каренин, личный враг Петра, ненавидевший его так, как только может ненавидеть человек человека...

Когда-то, в дни ранней юности, в те дни, когда царь Петр потайно наезжал в Немецкую слободу не для утех у его Юдифи, а повинясь своей любознательности, часто бывал в

этой же слободе и Михаил Родионович со своим младшим братом Павлом. Этих юношей влекло сюда нежное чувство. Они оба были с детства сиротами, и воспитывала их служанка отца, кроткая и разумная немчинка фрау Фогель, не устоявшая однако против домогательств боярина и ставшая матерью его «зазорных» детей.

Когда боярин Родион Каренин перебрался на Москву, где действовали суровые законы царя Алексея Михайловича, фрау Фогель, испугавшись за участь детей, поспешила укрыться в Немецкой слободе.

Михаил и Павел любили свою воспитательницу, которую они считали второю матерью и которую сумели-таки разыскать.

В Немецкой слободе Михаил увидел девушку Елену, которую полюбил со всем пылом первой юношеской любви.

А тем временем в Немецкую слободу зачастил молодой царь Петр, и Михаил Каренин заподозрил в нем соперника. Этого было вполне достаточно, чтобы он возненавидел царя.

Напрасны были уверения Елены, что не

она, а Анна Монс привлекает Петра, Михаил не верил ничему... Случилось же так, что Павел Каренин обратил на себя царское внимание, Петр Алексеевич, узнав от него, что брат косвенно причастен к делу Шакловитого, хотя и простил Михаила, но услал за границу для «совершенства в науках» обоих молодых Карениных вместе с фрау Фогель.

За рубежом Павел Каренин умер, Михаил тайно бежал на родину, пробрался в Москву и узнал здесь, что Петр выдал замуж его возлюбленную Елену, которая вскоре после свадьбы умерла... Отчаянию молодого человека не было пределов... Ненависть к Петру вспыхнула с такой силой, что желание отомстить ненавистному человеку овладело Михаилом Карениным и с течением лет обратилось в манию... На его беду, судьба столкнула его с Кочетом и Телепнем, и эти трое составили между собою союз против заклятого врага...

Теперь они опять вместе, сошлись, обуреваемые самыми мрачными помыслами.

— Вот, говоришь ты, — хмурился Телепень, — толковать везде, что царь у нас — не царь, а антихристово порождение... Только

кой прок от того? В этих-то местах на рубеже никто такому разговору не поверит. Здесь народ всякие виды видывал, и что ему антихрист. Другое дело пойти на Волгу, на Дон: там только слух об антихристе пусти, все за то и уцепятся.

— Верно он говорит, — мрачно сказал Михайло Каренин, — здесь с таким делом только пропадешь напрасно...

— Тогда вот что! — воскликнул Кочет. — Пусть Телепень на Волгу идет. Там благочестивых старцев — видимо-невидимо, в пещерах живут, и великое около них народное стечение бывает. Да и народ тамошний, что порох... Только искорку пустить — так и вспыхнет!

— Что же, — согласился Телепень, весьма довольный тем, что его мысль признана его сообщниками удачной, — такое дело совсем по мне.

— А мы здесь останемся, — отозвался Каренин, — видится мне, что ежели с терпением ждать, так будет для нас удача...

— А все я! — похвастал Кочет.

— Да, такое это дело, — согласился Михай-

ло, — только, друг ты мой любезный, — усмехнулся он, — без ума такого дела вокруг пальца не обернешь...

— Мой ум да твой — вот и два ума! — сказал Кочет. — Ну-ка, посоветуй, Михайло Родионович, что мне теперь в первую голову делать?

— А ты что думал?

— А думал я, как привезу немчинку к Меншику, так буду проситься, чтобы меня в гвардию взяли.

— Ну возьмут, а дальше что?

— Такое время теперь пришло быстрое: ежели в гвардию, так до большого чина весьма скоро дослужиться можно, и стану я тогда к царю-то совсем в приближении...

— И чем выше ты станешь, тем скорее голову себе свернешь. Не всем так, как Алексашке Меншику, удача везет... Да и он, Меншик-то, постарается всякому ногу подставить, кто вровень с ним взбираться будет.

— Что же делать-то тогда? — даже растерялся Кочет, сразу понявший, что Михаил Родионович говорит правду. — Научи, боярин...

— А вот что. Ты так устрой, чтобы тебе

Меншиком вертеть во все стороны можно... За большим не гонись: ведь все мы клятву дали для одной только мести жить. Живота своего не жалеем, так о достатках ли нам заботиться. Увидишь ты Меншика, так не в гвардию просись, а к нему в денщики. Возьмет он тебя — служи ему верой и правдой. Ежели меня под топор отправить понадобится, не задумываясь, отправляй... Только пусть он уверится, что предан ты ему всею душою. Поверит он тебе, станет потайные свои дела тебе поручать — и возьмешь ты тогда такую силу, что все по задуманному тобой исполняться будет. И станут тогда на Руси все великие дела вершить антихристово порождение да ты, ада исчадьё...

— Ой, сумею ли я? — задумчиво произнес Кочет, — пропаду я, ежели ты мною править не будешь...

— За мною дело не станет, — мрачно усмехнулся Каренин, — ты лишь уговора нашего не забывай. А Телепень пусть на Волгу к казакам идет. На Волге-то еще Стеньки Разина дух живет. Ежели там народ взбудоражить, так оттуда пламя-то на Дон, на Буг, на

Кубань, на Терек перекинется, и такой пожар разгорится, что почище московских стрелецких будет...

Он замолчал.

Кочет смотрел на него и давал сам себе зарок следовать всему, что будет указано этим мрачным человеком.

На рассвете маленький обоз тронулся дальше. Псков был недалеко; русская граница была уже перейдена, и теперь все чаще и чаще попадались навстречу русские люди. Марта с любопытством разглядывала все то, что видела, и наконец действительно позабыла слышанный ею разговор.

XIV

По ступеням к выси

Красив был Псков того времени, вотчина Господина великого Новгорода. Из-за белых стен кремля, целые века охранявших русскую землю и от Литвы, и от меченосцев, а в Смутное время и от шведов, высились золотые кресты множества церквей, а вокруг города раскинулись богатейшие предместья со складами всяких заморских товаров.

В это время Псков кишел военными людьми. Новое, большое дело затевал царь Петр Алексеевич, собрав сюда всю свою ратную силу, уже вполне оправившуюся от нарвского погрома.

Кочет, расспросив встречных, прямо с пути явился к тому дому, где жил Александр Данилович Меншиков.

Время было походное; даже царь и тот ютился кое-как, чуть не в лачуге. Однако его любимейший фаворит занимал дом довольно поместительный, в кремле.

Петр как будто умышленно выставлял себя

в самом простом виде, своих же ближайших сподвижников, напротив того, словно заставлял жить пышно, роскошно — контраст был в его пользу; государь-де трудится, тогда как другие только пьянствуют и бездельничают.

Потом, с годами, все это вошло уже в привычку. Петр Алексеевич не был богатым царем, личное его состояние было невелико, а денег государства он на себя не тратил, памятуя, как сам в былые годы относился к мотовству старших сестер, то и дело требовавших из приказов денег на свои личные затеи и прихоти.

Мелкие людишки, окружавшие в ту пору царя, пользовались казной без малейшей застенчивости.

Дом Меншикова и в Пскове был обставлен с такой роскошью, какая, пожалуй, и для царя была бы большой.

...Возок с пленницей остановился у крыльца, и, должно быть, Меншиков, бывший дома, сразу сообразил, что это такое: сейчас же выбежали люди и стали спрашивать у Кочета, кто он и с чем явился к их господину. Хитрый Кочет тотчас сообразил, что для него весьма

важно попасть на глаза к самому, а потому ответил:

— Привез я гостинец и письмо от боярина, Шереметьева и отдам их только в руки господину вашему.

Сколько с ним ни бились, он уперся и стоял на своем.

— Боярин Борис Петрович приказал, — говорил он, — я его послушаться не смею.

Тогда его отвели к Александру Даниловичу.

Тот сперва распалился на смелого солдата, но, когда первый пыл прошел, сообразил, что иначе Кочет поступить не мог, и принял письмо.

По мере того, как фаворит читал послание боярина, его лицо все прояснялось и прояснялось. Должно быть, так, как хотелось ему, писал Борис Петрович, — без сучка и задоринки.

— Ты привез от боярина пленницу? — спросил он, взглядывая на Кочета. — А по дороге ни с кем не допускал ее разговаривать?

— Никак нет! — ответил Кочет. — Марфушка!

— Какая там Марфушка? — закричал на

него Меншиков. — Никакой я Марфушки не знаю. Екатерина ее зовут.

— Так точно, Екатерина, — поправился Кочет. — Она ни с кем, кроме меня, ни словечка ни пикнула.

— Ну, ин быть так, поверю я тебе. Молодец, если хорошо боярскую службу справил. Вот пишет мне боярин, что ты, Кочет — парень дельный, так можно судить — ухарь; а такие нам надобны. Просит за тебя боярин Борис Петрович. Сделаю я по его за твою службу; если хочешь, я тебя к себе денщиком возьму.

Это было более того, чего мог ожидать Кочет. Он даже покраснел от радости и сразу не нашелся, что ответить.

— Ну-ну, вижу, что хочешь, — милостиво сказал Меншиков, — иди, погуляй по Пскову, а к вечеру назад возвращайся да Катерину-то в дом пошли. Я уж тут о ней позабочусь.

Веселый, радостный ушел от Меншикова бывший стрелец. Злобная усмешка кривила его губы: погоди, великий государь! Ужо я тебе все припомню, проклятый нарышкинец!

И темные, мрачные мысли все больше и больше овладевали этим человеком, которого

ненасытная злоба и яростная жажда мести делали и хитрым, и настойчивым.

Марта Рабе, или теперь уже Екатерина (ее фамилией Александр Данилович не больно интересовался), осталась в доме всесильного фаворита и жила в нем уже не как простая служанка. Хотя Меншиков относился к ней и не с особенным почтением, однако обращался с Мартой далеко не как с рабой, обязанной беспрекословно повиноваться всякой его воле, всяким капризам. После встреч с царем, после нередких попоек он спешил к Екатерине, затворялся с нею в отдаленном покое и вел долгие-долгие негромкие разговоры. Екатерина слушала внимательно, запоминала: не дура ведь была. К тому же Меншиков прекрасно владел немецким языком. Пытавшиеся подслушать слуги не понимали его, но по тону заключали, что Александр Данилович, пред которым нередко как в лихорадке дрожали с перепуга знаменитые бояре, лебезит пред мариенбургской пленницей.

XV

Поиск на Орешек

А дни между тем шли. К десятому сентября в Пскове собралась вся шереметьевская армия. Государь налетел в Псков из Новгорода, умчался обратно туда, и вскоре после этого разнеслась весть, что не сегодня завтра начнется новый поход на Ладогу. Тут уже всякому стало понятно, что царь затеял «великий поиск» на шведскую крепость Нотеборг, преграждавшую выход из Ладоги в Неву.

В невозможную осеннюю распутицу, как две живые реки, покатились своими живыми волнами петровские армии из Новгорода и Пскова, направляясь к древнему новгородскому Орешку. Путь не был очень длинен, если бы не распутица.

Главнокомандующим этих армий был назначен боярин Борис Петрович Шереметьев, на Ладожское же озеро был послан генерал-адмирал Апраксин, брат царицы Марфы, вдовы царя Федора.

В начале пути переходы были не слишком

тяжелы: как-никак, а в пограничном крае были сносные дороги; но вскоре сплошными стенами встали приволховские лесные трупщобы. Дорог не было, приходилось продира́ться сквозь лесные чащи, осиливать топи, болота, и, чем дальше шли полки, тем тяжелее и тяжелее становился их путь. Мозглая осень этого года была надежным союзником шведов, но закаленные в малой войне солдаты, теряя товарищей, в конце сентября были на левом берегу Невы возле грозной крепости. Задирали головы, глядя на стены: такие враз не одолеешь.

Хотя шведы и были застигнуты врасплох, боязни у них не было: Нотеборг был хорошо укреплен, запасов немало. Стоял он на острове, от правого берега был отделен широким невским рукавом, с севера лежало холодное Ладожское озеро — попробуй подойди!

Подошедшие войска стали на левом берегу Невы. Шереметьев до прибытия царя не решился начать боевые действия и ограничился тем, что занял высоты правого берега, переправив туда часть войск по Неве ниже крепости.

В мозглый, скверный день первого октября русские полки приветствовали громким «ура» прибывшего государя. Он был не один: в его свите было много поляков и саксонцев. Увлечение «другом Августом» еще не прошло, и эту свою дружбу Петр особенно подчеркивал, всюду таская с собой его посланцев.

В свите царя был и польско-саксонский резидент красавчик Кенигсек. К нему особенно благоволил московский царь: видно, чем-то похож был тот на верного друга Лефорта. Его счастливый соперник уже не раз сменял царя на роскошной кровати с золочеными занавесами, а Петр так любил Анну Монс, что ему и в голову не приходило, что горячо любимая им женщина, обласканная, одаренная с величайшей щедростью, поднятая из ничтожества, женщина, для которой он решался на все, вплоть до женитьбы, осмелилась бы нагло и дерзко обманывать его с каким-то иноземным проходимцем.

В эту пору Петр писал в Немецкую слободу Аннушке нежнейшие письма, в которых так и сквозила жаждающая ласки, любящая душа.

«Пиши, пиши!» — хмурился Меншиков.

В сопровождении своей свиты, придворной знати и столь любезных ему иностранцев Петр каждый день ездил по невским берегам, осматривая осадные сооружения.

— Как ни крепок сей Орешек, — говорил он, — а все-таки с помощью Божиею мы разгрызем его.

А осень становилась все мрачнее, все туманнее, с Ладоги веяло промозглой сыростью. Шереметьев докладывал царю: если простоять здесь еще, то войско может «истребиться от болезней». Действительно, смертность среди солдат была высока. Царь и сам понимал, что медлить под Нотеборгом невозможно, и на одиннадцатое октября назначил решительный штурм.

В сильнейшем волнении проводил царь все эти дни; похудел, почернел и даже не замечал, что Алексашка Меншиков редко показывался ему на глаза, а если и показывался, то какой-то встревоженный, как будто был занят делом, за успех которого страшился более, чем за свою жизнь.

Меншиков действительно был занят. Его

денщик Кочет стал близким к нему человеком, и они все чаще и чаще, удалив слуг, шептались о каком-то тайном деле.

— Смотри, Кочет, все сделай, как мы говорим. Большая тебе награда будет! — сказал однажды Меншиков.

— Не изволь беспокоиться, милостивец! — с жаром ответил бывший стрелец. — Мне ли в таком деле не послужить тебе? Ты только устрой так, чтобы ворог-то твой со мной вместе был, а об остальном и не думай.

— Как не думать, — качал головой неустрашимый Меншиков. — Тут сто раз подумаешь...

XVI

Под грохот пушек

Утром одиннадцатого октября подполковник князь Михайло Голицын с храбрейшими из двух полков гвардии, переправился на остров и подступил к крепости. К несчастью, штурмовые лестницы оказались на полторы сажени короче, и русский отряд, находясь под самыми стенами, поражаемый сверху картечью, гранатами и камнями, был на грани полного истребления. Пали убитые и раненые. Петр метался и готов был уже дать приказание отступить, но судьба улыбнулась ему.

— Скажи государю, — ответил сурово Голицын посланному, — что теперь я принадлежу не ему, а Богу!

Он приказал оттолкнуть лодки от берега и бросился на крепостную стену. Отступить было некуда — всюду смерть. Изумленные столь отчаянным мужеством русских, осажденные дрогнули.

И в это страшное утро царь, наблюдавший за ходом штурма, не видел около себя Меншикова. Тот же был недалеко. В эту ночь он напросился в гости к графу Кенигсеку.

— Быть может, моя последняя ночь, — сказал он графу. — Хочу весело провести ее.

Ночь была проведена более чем весело. Позднее осеннее утро застало участников попойки еще за столами. Русские выдержали: Александр Данилович был трезвее других, зато непривычный хмель свалил с ног Кенигсека. Его голова была налита свинцом, веки смыкались, язык переставал повиноваться.

Утром в шатер, где была попойка, вбежал Кочет.

— Великий государь требует к себе вот его, — зашептал он Меншикову, указывая на графа Кенигсека. — На своей батарее государь пребывает и повелеть изволил, чтобы до начала пушечного боя вся его свита около него собралась.

— Ахти! — воскликнул Александр Данилович. — А мыто даже и не вздремнули. Граф, а граф! Слышишь? Государь тебя требует.

— К черту!.. — проговорил спросонок пья-

ный Кенигсек. — На что я там понадобился? Что мне делать? Никакой у меня охоты нет на вашу бойню смотреть.

— Да пойми же, граф, нельзя! Разгневаается государь...

— А мне какое дело? Мой государь Август, а вашего царя я и знать не хочу...

— Полно, перестань! За такие словеса, знаешь, что у нас бывает?

— Так вы кто? Рабы! А я — свободный человек. Вас батогами бьют, и стоит. Чего вы сами-то стоите, если ваш царь у свободного человека его любовными остатками пользуется? Правду я говорю, или нет?

— Тс... ни слова! — закрыл ему ладонью рот Меншиков. — Я ничего не слышал, граф, что ты спьяна болтал. Поезжай скорей на батарею. Государя нельзя заставляя ждать.

Должно быть, и Кенигсек почувствовал, что сказал слишком много, но пьяное упорство не позволяло ему сдаться без ломания.

— Куда я еще поеду? — замычал он. — Я и дороги не знаю...

— Поезжай, мой денщик тебя проводит, — сказал Меншиков.

— Разве только что он, — сдался Кенигсек. — Ну, если так, ведите меня... Черт с вами, поеду. На лошадь только посадите, а там я удержусь.

Глаза Александра Даниловича так и блеснули. Он быстро взглянул на Кочета, и тот ответил ему таким же быстрым и острым взглядом.

— Вот так-то лучше! — нервно смеясь, заговорил Меншиков. — Ты, граф, поезжай на государеву батарею, а я в другие места поспешу. У меня тоже в такое утро хлопот полон рот.

Вместе с Кочетом он вывел графа и усадил его в седло.

— Дай еще на дорогу выпить! — воскликнул тот и залпом осушил поднесенную ему сейчас же чарку. — Ну, теперь едем.

Через мгновение они скрылись в сумраке только что наступавшего утра.

Меншиков немного постоял, смотря им вслед; его так и трясла лихорадка. Потом он лихо вскочил на другую лошадь и один помчался по хорошо знакомой ему дороге к царской батарее.

Артиллерийская подготовка штурма уже

началась. Русские пушки так и ревели на обоих берегах, посылая в осажденную крепость тучи ядер. Царская батарея находилась на холме, у самого берега небольшой речонки, переправляться через которую нужно было по лавам. Речонка была глубокая и быстрая, с крутыми берегами. Меншиков во весь опор промчался по колеблющимся плотам и взнесся на холм.

Царь зверем посмотрел на него и крикнул:

— Где ты шлялся, негодник? Я тебя ищу, ищу, а все нет нигде!

— Прости, государь, — смело ответил Александр Данилович, — о твоём же царском деле я заботился. По всему берегу я проехал, везде все осмотрел. Сам же ты говоришь, что свой глаз — алмаз, а в этом-то деле без верного досмотра и обойтись нельзя.

— То-то! — уже более милостиво проговорил Петр Алексеевич. — Ах, этот Шлиппенбах! Какой комендант он, если такую крепость сдаст!

— А не сдаст он ее, государь, — воскликнул Александр Данилович, — так мы и сами для тебя возьмем!

Пушки на мгновение смолкли, от берега отчаливали баржи с голицынскими штурмовыми колоннами. Настала томительная, удручающая тишина.

— Помогите, кто в Бога верует! — раздался из-под холма с речонки громкий вопль.

Царь нахмурился.

— Что еще там такое? — проговорил он. — Никак кто-то тонет. Поди, Алексашка, догляди; может быть, от Петровича с донесением гонец.

— Сейчас, государь, — крикнул Меншиков и умчался с царской батареи.

Пушки опять заревели. Начался невообразимый хаос. Штурмовые колонны уже были близки к островку, теперь заговорили и пушки Нотеборга; в сумраке осеннего утра стены крепости то и дело опоясывались огневой лентой выстрелов.

Царь Петр забыл об услышанном им вопле, забыл обо всем, увлеченный открывавшейся перед ним ужасной картиной начавшегося штурма. Глаза его горели, губы дергались.

Обреченные на явную гибель голицын-

ские полки совершали чудеса храбрости; солдаты, срываясь и падая, лезли на стены. Петр в ярости кусал ногти. И вдруг глубокий вздох облегчения вырвался из груди его: он увидел взвившийся над неприступной крепостью белый флаг.

— Ура! — закричал он в восторге, срывая треуголку. Скользя, побежал к крепости.

— Поберегись, государь! — испуганно кричали ему вслед.

— Слава, слава! — шептал Петр, и слезы лились из его глаз.

XVII

Помраченная радость

Тяжело тянуло пороховым дымом. Петр стоял на холме, овеваемый ветром, а кругом из десятков тысяч глоток, заглушая последние пушечные выстрелы, рвалось могучее русское «ура».

— Великой важности дело свершилось, Петрович, — улыбаясь сказал государь Шереметьеву. — Древний наш Орешек стал для нас ключом к свободному морю. Так пусть же он в назидание потомству о сем останется таким. Отныне да будет имя сей твердыне — Шлиссельбург!

Громовое «ура» покрыло последние слова царя-победителя. Распахнулись крепостные ворота, и из них на прибрежные отмели островка повалила толпа разного люда.

От пристани отвалили лодки: это сам комендант сдавшейся крепости вез царю ее ключи.

Петр милостиво принял побежденных, удостоил их, как храбрецов, воинской почет-

ной встречи, пригласил Шлиппенбаха и высших его офицеров в свой шатер на пиршество в честь победы русского оружия.

Впрочем, это не походило на обычное шумное петровское пиршество — слишком уж утомлен был царь. Да и Меншикова не было за столами, а ведь он — главный вдохновитель всех царевых попок.

Уже к концу пира заметил Петр своего любимца. Ему показалось, что Александр Данилович прячется за чужие спины, стараясь не попадаться царю на глаза.

Этого было достаточно, чтобы возбудить любопытство и подозрение царя.

— Эй, Алексаша, дитя моего сердца! — воскликнул государь. — Что-то я тебя не вижу? Где ты там укрываешься? Подойди сюда!

Повинуясь царскому приказу, Меншиков выдвинулся вперед, и Петр, подозрительно взглянувший на него, сразу заметил, что случилось что-то особенное: его любимец потуплял взоры, отворачивался в сторону и как будто не решался заговорить.

— Что еще там у тебя такое? Что приключилось, рассказывай? — крикнул царь.

— Прости, государь, — тихо ответил Меншиков, и Петр заметил, что его голос дрожал.

— Да в чем прощать-то? Сказывай, в чем ты провинился? Опять какого-нибудь купца обобрал, негодник, и жалобы на себя боишься?

— Нет, государь, не то. Беда приключилась, несчастье...

— В столь радостный день? Что стряслось? Меншиков совсем близко подошел к царю и вполголоса проговорил:

— Граф Кенигсек утонул. Это, государь, ты его вопли слышал, когда на батарее был.

Петр вздрогнул.

— Что? — закричал он. — Друга моего короля Августа верный слуга погиб? Да как же это случиться могло?

— Доподлинно не ведаю, государь, — так же тихо ответил Александр Данилович, — сам знаешь, я при тебе на батарее был. А когда я расспрос учинил, то рассказывали мне, что граф-то спешил к твоему царскому величеству на батарею и пустил лошадь вскачь через лавы. Вот тут разное говорят: одни — что лавы разведены были, а граф в утренней тем-

ноте того и не заметил, другие — что поскользнулась лошадь и вместе с графом с лав в речку свалилась, граф же будто в стремях запутался.

Царь опустил голову на руки. Видимо, это известие не только опечалило, но и страшно поразило его.

— В столь радостный для меня день, — тихо проговорил он, — и такая беда приключилась! Уж не знамение ли это для меня? Как подумаю, так поверить не могу. Граф Кенигсек... — Царь сверкнул глазами на Меншикова. — За него я двоих таких, как ты, отдал бы, негодник!

— Твоя на то воля, государь, — дерзко взмахнул головой Александр Данилович. — Да вот только хорошие-то твои друзья иноземные что-то не держатся при тебе: одни сами уходят, других Бог отнимает от тебя, — а мы, русские негодники, с тобой постоянно, и каждый-то из нас, негодников, как князь Михайло Голицын, свой живот за твое государево дело ежечасно готов положить. Да, великий государь, знать, поэтому мы и выходим для тебя негодниками.

Дерзость всегда действовала на Петра. Смелые слова Меншикова охладили его вспышку, он почувствовал в них горькую правду и сразу укротился.

— Ну, полно, Алексашка, полно! — мягко сказал он. — Не гневись да не гонись за каждым словом. Ведь мы свои здесь; побранимся — и все такие же будем. А ты сейчас же на рожон лезешь. Нет того, чтобы помилосердствовать и не раздражать государя...

— Да я, государь, и не для раздражения сказал, — ответил Меншиков, поднимая на Петра взор. — Не впервой мне от тебя за мою службу обиды терпеть. К тому речь веду: покойный-то граф...

— Вытащили его? — перебил его Петр.

— Не в реке же, государь, тело было оставлять, водой бы в Неву унесло, а там в сегодняшний день для рыбьего и рачьего прокормления и без того немало русских негодников плавают.

— Алексашка, перестань! — загремел государь. — Не натягивай струны — лопнуть может.

— Да я к тому сказал, — с еще большей дер-

зостью ответил Меншиков, — что если такая мертвечина иноземная, которая ласки не помнит, на добро плюет, да рыбам на снесь попадетя, так все они, рыбы-то, передохнут...

Петр напрягся. Хорошо он знал своего фаворита, всю его душу вызнал и понимал, что если Меншиков хулит кого-нибудь, хотя и покойного, так разведаль про него что-то такое, что ему язык развязывало.

— Говори, Алексашка, что ты сказать мне хотел. Да в обиняках не путайся! Нечего мне тут твои предерзости выслушивать. Довольно, больше не желаю... Дело говори!

— Да ты меня сам, государь, постоянно перебиваешь, а если бы не то, так я давно осмелился бы напомнить тебе, что граф Кенигсек своим лицом королевскую особу представлял, всякие у него тайные бумаги в шатре могут быть, письма от короля Августа и прочее... Вот я, как его из воды вынули, так осмелился и по карманам пошарить и в потайном кармане камзола на груди большой пакет нашел...

— Развертывал? — грозно посмотрел на него царь.

— Смелости не хватило. Да и то сказать: какое мне дело? Вы, помазанники Божии, сами между собой посчитаетесь, а я-то что?.. Мне ваших тайн не знать. Взял я пакет и в шатер Кенигсека отнес, там и тело положено. А к шатру караул приставил, чтобы никто не смел близко подходить. Как повелишь быть? Забрать мне бумаги, или, быть может, сам их возьмешь?

Петр на мгновение задумался.

«Кто их там знает, какие у покойника бумаги были? — промелькнули у него в голове одна за другой мысли. — Может быть, брат Август такое ему писал, что никому, кроме нас двоих, и ведать не надлежит. Доверь-ка я Алексашке, так он, лиса, все тайны выкрадет, а потом, кому выгодно, продаст. Лучше уж сам я потружусь, недалеко шатер Кенигсека, проеду и его праху поклонюсь».

XVIII

Удар в самое сердце

Во время этого разговора все в шатре притихли. Борис Петрович Шереметьев, сидевший поблизости от царя, не спускал взгляда с Меншикова. Он так и впивался в него своим взором, стараясь прочесть все его сокровенные мысли. Боярин чувствовал, что в печальном происшествии этого дня есть какая-то связь с тем разговором, который Меншиков и он вели во время наезда Данилыча под Мариенбург.

«Ой, Алексашка, — думал он, — ой, лиса, ой, конюхово отродье!.. Как он дело-то ведет!.. И что только он задумал? Ведь и впрямь выходит, что этот граф-то не без его помощи преставился».

Громкий возглас царя прервал думы боярина.

— Ин быть так! — проговорил Петр. — Поеду я сам и заберу бумаги. А вы тут, — встал он со своего места, — пируйте, пока я не вернусь. Я недолго... Жаль графа, жаль, а все-таки

живые мы, так о живом и думать будем. Ну, Данилыч, веди меня к шатру!

У царской палатки всегда стояли готовые кони, и минуту спустя царь, в сопровождении Меншикова и трех гвардейских офицеров, уже мчался по лагерю, направляясь в ту сторону, где стоял шатер погибшего графа.

— Признайся, Алексашка: заглядывал ты в графские бумаги? — спросил царь.

— Видит Бог, государь, нет, — искренним тоном ответил Меншиков, — взглянешь, так сам увидишь. На пакете все печати целы...

— Да он, может быть, размок?

— Саму малость. Ежели бы трогал я, так бумага разлезлась бы, а вот взглянешь ты, государь, и увидишь, что она цела.

— То-то! Ой, Алексашка, если обманываешь ты меня — берегись. Все спускаю, а обманна не помилую.

— Да зачем мне обманывать тебя, государь? Ведь я — не иноземец, — ответил с ядовитой усмешкою Александр Данилович.

И Петр опять почувствовал, что не без основания говорит это Меншиков и что его ядовитая усмешка неспроста.

У шатра Кенигсека стояли часовые.

— Ты меня здесь жди, я один пойду! — спешиваясь, сказал царь Меншикову.

Он бросил поводья и пошел в шатер; Меншиков с прежней ядовитой усмешкой смотрел ему вслед.

Войдя, Петр остановился и огляделся. На походном ложе лежало тело утонувшего графа, небрежно брошенное, не прибранное и ничем не прикрытое. Царь подошел и опустился пред покойным на одно колено, творя поминальную молитву и крестясь. Потом встал, провел рукой по своим увлажнившимся глазам и тихо, с чувством проговорил:

— Да, это был друг искренний. Немного таких у меня. Покойся до Страшного Суда, незабвенный! Ты мною не будешь забыт.

Он отошел от тела и огляделся. Было еще довольно светло, и государь сразу заметил на столе большой пакет. Он догадался, что это был тот самый пакет, о котором говорил ему Александр Данилович, и, подойдя к столу, взял его в руки.

«Отправлю, не вскрывая, брату Августу, — подумал он, — зачем мне чужие тайны?».

Он слегка тряхнул пакетом... Тряпичная бумага, намокшая в воде, а потом замерзшая на осеннем холоде, лопнула, и перед Петром, как бы сама собою, вскрылась внутренность пакета. Он увидел его содержимое, и вдруг лицо потемнело, голова затряслась, губы искривила страшная конвульсия. Петр лихорадочно стал рвать пакет, и хриплые, безумные выкрики то и дело срывались с его уст.

Первым из-под рваной бумаги выпал его собственный портрет, подаренный им когда-то, в мгновения нежности, первой красавице Кукуя; потом появились его же письма к Анне, письма Анны к Кенигсеку. Бегло просмотрев некоторые из них, Петр заскрежетал зубами: как?! он, всемогущий повелитель огромного народа, он, постоянно твердивший, что правда для него краше солнца, был нагло обманут, и кем?!

Стон, рев рвались из груди пораженного в самое сердце человека. Он был оскорблен и как владыка, и как любовник; он, могучий и властный, стал жалкой игрушкой в женских руках. Ведь ради кукуевской прелестницы он прогнал жену, лишил своего единственного

сына матери, он хотел поставить ее наравне с собою на ту высоту, куда вознесла его всемогущая судьба.

И кому он предпочтен? Польско-саксонскому проходимцу, без рода, без племени, которого он же сам вытащил из грязи! Вот кто был его счастливым соперником!

Петр, сжимая кулаки, бросился было к трупу Кенигсека, но в самое последнее мгновение великая тайна смерти, запечатлевшаяся на застывшем лице мертвеца, остановила его. Петр схватился руками за голову, кинулся к столу, скомкал бумаги, распихал их по карманам и выбежал из шатра.

Меншиков, едва взглянув на царя, понял, что произошло. На миг на его лице отразилось ликование: теперь для него не было сомнения, что его план удался, что могучая соперница повержена в прах.

XIX

Возвращение царя

Петр, ни слова не говоря, вскочил на лошадь и так пришпорил ее, что она испуганно рванулась вперед. Царь помчался как вихрь, Меншиков и немногочисленные провожатые едва поспевали за ним.

Были сумерки холодного, промозглого дня, с Ладоги дул пронизывающий сырой ветер. Камзол царя распахнулся, треуголка давно слетела прочь, но он не замечал этого. Он рад был буре: ведь в его душе ревела такая же буря, разом сметавшая все то, чему он еще недавно поклонялся, что нежно любил.

Кто знает, где были в эти мгновения думы Петра? Может быть, ему вспомнилось прошлое, вспомнилась кроткая жена его, которая никогда не изменила бы ему; вспоминалась могучая сестра, в роковой для него миг бросившая ему в лицо правдивые укоры; вспоминались иноземцы, для которых на их родине места и дела не хватало и которые им, царем, были поставлены во главе своего кроткого,

многотерпеливого народа. Теперь клокотавшая в его душе буря разом обратилась против них.

А эта распутная баба из Немецкой слободы? Да кто она такая? Имеет ли право даже гневаться на нее великий царь? Гордость мужская не должна допускать этого. Сегодня — она, а завтра — другая... Сотни таких и в своей земле, и за рубежом были бы рады его ласкам, так что же печалиться о ней. Вон ее из памяти царской, вон из сердца, как будто никогда и не было ее на белом свете!

Петр на всем скаку повернул своего коня.

Этот поворот был так неожидан, что следовавший за государем Меншиков на всем скаку налетел на него и тут же вылетел из седла.

— Прости, государь! — завопил он с земли. — Никогда больше не буду.

Страсти быстро менялись в огненной душе Петра. Чем страшнее был порыв, тем скорее он проходил, и всякая мелочь вызывала нередко смех. Вот и теперь фигура Меншикова, разодетого в богатейшее придворное платье и барахтавшегося на грязной земле, показала царю смешной.

— Вставай, шут поганый! — крикнул он.

— И рад бы, государь, — ответил Меншиков, — да не могу. Какая-то косточка хрястнула.

Петр, недолго думая, соскочил с лошади и мощным рывком приподнял своего фаворита.

— Ой, государь, не могу. Не то ногу вывихнул, — голосил тот, — не то спину поломал.

— Нежен больно! — сумрачно проговорил царь. — Вот я тебя к князю-кесарю в приказ на дыбе полечиться пошлю — живо выздоровеешь.

— Что ж, пошли. Быть может, мое место при тебе для графа Кейзерлинга понадобится? Очищай, очищай от нас места для иноземцев!

Тон фаворита был нагл и дерзок. Царь опять понял, что неспроста эта выходка Меншикова.

— Садись, что ли, на лошадь, Алексашка! — сурово проговорил он. — Поедем потихоньку. Мне с тебя спрос снять нужно.

Должно быть, Меншиков упал совершенно счастливо, и вся его проделка имела целью насмешить царя и тем вызвать его на разго-

вор. По крайней мере теперь, убедившись, что бешеная скачка по невскому берегу немного охладила и образумила царя, Меншиков вдруг выздоровел и легко, без всякой помощи, вскочил на лошадь.

— Поедем рядом, — сказал ему государь, — я тебя спрашивать буду, а те, — мотнул он головой в сторону провожавших, — пусть подалее отъедут.

Александр Данилович махнул рукой. По этому знаку всадники отстали.

Несколько минут царь и фаворит ехали молча. Теперь ладожский ветер дул им в спину. Меншиков ежился — его словно ледяные иглы насквозь пронизывали. Петр же словно не замечал непогоды. Он пыхтел, кряхтел, сопел, очевидно, не зная, с чего ему начать свои расспросы, и наконец обратился к Александру Даниловичу:

— Алексашка!

— Что повелишь, государь?

— А то повелю! Ты вспомни: ведь я тебя из грязи вытащил. Чем ты был бы без меня? На бочке при конюшке ездил бы, а не то на базаре пирогами с тухлой начинкой торговал

бы...

— Так, государь, — перебил его Александр Данилович. — Всем я тебе обязан. А пироги, коими я торговал, порочить не изволь: свежие они были, никогда родительница в них тухлятины не клала. А если я торговал на базаре, так нет в том для меня позора. Семеро нас у родителя было, значит, с ним да с матерью девять ртов, да дедка с бабкой; я меньшим был и с малых лет в честном труде родителям помогал. А разве можно корить этим человека, хотя бы и царю? Твоя воля надомной теперь! Залетел я вон на какую высь, так и скрывать от тебя не буду, что и с правого, и с виноватого шкуру деру, хуже душегуба на большой дороге граблю... Так за это мне от всех почет и уважение, а за честный труд покор да попрек. Эх, царь-государь Петр Алексеевич! Мудр ты, наш Соломон российский, да язык-то у тебя не всегда на привязи. Повели меня казнить за правду!

— Да что ты, Алексашка! Какой белены объелся? Не попрекаю я тебя, а напоминаю и хочу я, твой царь, правды за все, что я сделал тебе. Скажи и ты мне правду: знал ты, какие

бумаги при Кенигсеке были?

— Знал, государь, — прозвенел голос Меншикова.

— А-а-а! — вырвался хриплый рев из груди Петра.

— Да ты погоди. Если спрашиваешь у меня правду, так я тебе всю ее выложу, благо время такое подошло, а после делай со мной что тебе угодно. Не сегодня я об этих бумагах узнал — обо всем том, что в письмах писано, давно мне было ведомо. Да разве мне одному? Вся Москва взапуски говорит. Царь с кровати, а немчин на тепленькое место.

Новый стон вырвался у Петра.

— Так чего же вы молчали? Чего ты молчал?! — закричал царь так, что эхо переливами разнесло его крик.

— Э, государь, — возразил фаворит, — да подумал ли ты, о чем меня спрашиваешь? Кто до тебя приступиться смеет? Ведь у всех одна голова на плечах, а твоему князю-кесарю все равно, в чьей крови купаться. Тоже золотце!.. Ну уж коли на то пошло, государь, так слушай же... Кенигсек утоп...

— А ты ему не помог в этом?

— Да уж там помог — не помог, этого никто не знает, кроме Бога. А ты Писание вспомни: «Волос с головы не упадет без воли Господней», и на этом остановись да не перебивай меня, если правду у меня спрашиваешь. Так вот, говорю я, графчонок этот августов утоп, а немчинка твоя, как проводила его из Москвы, так с посланником Кейзерлингом спуталась.

— Быть того не может!

— Чего там «не может», государь? Поди-ка, достань посланника. Твой же собственный друг, король прусский Фридрих, за него тебе такую тютю пропишет, что ты и света не взвидишь. Что же, царь-государь? Вот один своим рылом кверху лежит, поди-ка с другим потягайся. Кто из вас кого из кровати выгонит?

Какие-то хриплые, надрывистые звуки — таких Меншиков еще никогда и не слыхивал во все долгие годы, проведенные с царем, — вдруг вырвались из могучей груди венчанного исполина. Петр рванул лошадь и опять Домчался вперед.

— Забрало, — пробормотал фаворит, — ко-

нец Анке!

И тоже пришпорил лошадь.

Царь мчался прямо к своей палатке. Бешеный, тяжело дышащий, ворвался в нее; участники пира еще не разошлись. Все вскочили, увидав возвратившегося государя.

— Эй, вина несите! — громовым голосом крикнул Петр. — Дураков и дурок сюда! Бейте в литавры, из пушек палите! Громче, громче! Радуйся, Москва: твой царь к тебе возвращается.

Вино и женщины

Великое начало было сделано взятием Нотеборга, переименованного царем в Шлисельбург (Ключ-город), велика была и радость Петра.

Но это была радость царя, возвратившего древнее свое достояние, радость полководца, одержавшего решительную победу; что делалось в душе Петра-человека, уязвленного неожиданно в самое сердце, об этом знал только он один.

Утонувшего Кенигсека повелено было похоронить просто; бумаги же, оставшиеся после него, разбирал сам царь, и каждая-то бумажонка была острой стрелой, впивавшейся в его израненное сердце.

Дипломатических бумаг в конверте не было. Несчастный Кенигсек держал при себе только письма Анны Монс, и теперь все они были в руках Петра; он читал их, и каждая строка заставляла его то вздрагивать от бешенства, то стонать от переживаемой муки

душевной.

«Значит, все знают позор мой! — неслись в мозгу Петра огневые мысли. — Вся ненавистная мне Москва радуется... Что делать? Как поругание такое прикрыть?.. К Федьке Ромодановскому, что ли, эту тварь послать и в кипятке заживо сварить?»

Но это были только мимолетные вспышки ярости. Как бы ужасно ни было его отмщенье обманувшей его любвице, даже самые страшные ее муки не заставят забыть тех блаженных, счастливых минут, которые он пережил в ее объятиях. Оскорбленному любовнику хотелось чего-то особенного. Если бы в Преображенский приказ, к князю-кесарю, можно было послать душу кукуевской престлестницы?! О, тогда не было бы той муки, которую он бы придумал для нее; но в руках была не душа, а тело, ничтожное, смертное тело.

Как ни был могуч этот человек, как ни презрительно смотрел он на всех, кто окружал его, но одиночество в такие мгновения было нестерпимо... Гордость не допускала Петра опуститься до душевных излияний пред кем бы то ни было, а душа жаждала этих излия-

ний. Пирь, попойки, всякие «веселости» не тушили сжигавшего сердце огня, не успокаивали кипевшей в душе бури. И не было человека, с которым слово можно было бы сказать, такое слово, которое разом облегчило бы страшный душевный гнет.

Нестерпимо мучившийся царь не замечал, как внимательно наблюдал за ним Александр Данилович Меншиков, глаз не спускал с него, но не торопился, все еще выжидал.

«До настоящего каления дошел, — думал фаворит, иногда пристально глядя на царя, словно гипнотизируя его, — подождем, немножко еще подождем. Игра верная, проигрыша не будет». И в эти дни Александр Данилович был куда счастливее своего повелителя.

Совсем еще мало был при нем Кочет, но Меншиков уже чувствовал, что этот человек становится ему все более и более необходимым. Кочет словно умел угадывать сокровенные мысли своего господина, и по временам Александр Данилович даже боялся его... Нередко он видел, как без слов, с одного намека исполняется то, что им было давно задума-

но и о чем он даже самому себе вслух еще не обмолвился.

Кочету было поручено оберегать Марту Рабе, привезенную в шлиссельбургский лагерь потайно, и Меншиков лучшего охранителя и найти бы не мог: Кочет так строго относился к молодой женщине, что даже ревнивец не мог бы заподозрить в нем любовные поползновения.

Меншиков пробовал сам следить за Кочетом, подсматривал за ним, когда он бывал у мариенбургской красавицы, подслушивал их разговоры и все более и более убеждался, что Кочет незаменим для него.

Марта-Екатерина, уже привыкшая к своему новому имени, расцвела. Ураган, промчавшийся с такой стремительностью и захвативший было ее, не оставил на ней и следа. Ведь ей в ту пору шел всего только девятнадцатый год... Она была не по возрасту высока и крупна, но все в ней было пропорционально и красиво. Крупные черты лица соответствовали всей ее фигуре, а бархатные глаза делали ее неотразимой.

Меншиков подолгу смотрел на нее, и тогда

на его выразительном лице появлялась довольная улыбка.

— Недужится мне что-то, — возвратившись с одной вечерней попойки, сказал однажды Меншиков Кочету, — боюсь, что слягу... Да и то, пожалуй, полежу завтра...

Он говорил все это неуверенно, словно ожидая со стороны Кочета совета.

Тот слегка улыбнулся.

— Ты чему? — нахмурился Александр Данилович.

— Хорошие мысли, милостивец, на ум пришли! — ответил Кочет.

— Какие еще там?

— Да такие, что, значит, нужно всем нам к царскому посещению готовиться.

Меншиков даже подпрыгнул на скамье от изумления.

— Ты... ты почему знаешь? — воскликнул он. — Колдун ты, что ли?

— Какой уж там колдун! — возразил Кочет. — И колдуном быть не надобно, чтобы смекнуть: ежели такой человек, как ты, милостивец мой, да занедужит, так великий государь болящего навестить не преминет!

— Ой, Кочет, — погрозил ему пальцем Александр Данилович, — сметлив ты не в меру!

— А разве худо? Вот теперь тебе и думать не надо, как такого гостя встречать... У меня из шведских погребов такое винцо припасено на сей случай, что царя угостить им не стыдно. Катеринушка кубок-то подавать будет?

Меншиков даже и не ответил, он только рукой махнул, чтобы Кочет уходил поскорее. Александр Данилович и сам был умен. Он теперь ясно видел, что Кочет проник во все его сокровенные помыслы.

«Ну и пусть его! — решил он. — Ежели вздумает предать меня, так живо справлюсь, а ежели нет, так такого слугу верного мне и надобно... На зиму в этих местах мне придется остановиться, так пригляжусь к нему и увижу, каков он человек».

На этом Меншиков и порешил.

На другое утро он сказался больным и послал с вестовым нарочное о том извещение государю.

В ту пору Меншиков жил уже совсем по-

зимнему. Он был назначен губернатором всего отвоеванного у шведов края, и ему действительно приходилось оставаться здесь на зиму, дабы подготовить все к весеннему походу к невскому устью. Меншиков переселился в один зимний дом в городском крепостном поселении на правом берегу Невы не только с комфортом и уютom, но и с роскошью — он это умел. Сказавшись больным, он, конечно, и остался в постели. Государь немедленно прислал к нему своего доктора Блументроста, а потом оправдался и тайный расчет Меншикова: Петр Алексеевич и сам явился навестить больного любимца.

— Что, Алексашка, — заговорил он, входя к больному, — никак тебя здешние ветры сокрушили...

— Ой, государь! — заметался на постели Меншиков. — Прости, помилуй... Сейчас поднимусь я... Людишки окаянные и не сказали, что такой гость жалуется!

— Лежи, тебе говорят, лежи! — прикрикнул на него Петр. — А я вот тут на кровать присяду к тебе... Поговорить надобно; я ведь уезжать собрался, и за меня ты здесь остаешься-

ся.

Между ними начался деловой разговор.

Александр Данилович видел, что государь находится в необычно угнетенном настроении. Мрачен, часто замолкает на полуслове.

— Прости, всемилостивейший батюшка мой! — вдруг прервал он деловую беседу. — Совсем, видно, негоден я стал от болезни: гость такой в дому, а я и угощения не ставлю...

И он хлопнул в ладоши; сейчас же в спальном покое появился Кочет.

— Пусть вина сюда подадут, — приказал больной хозяин, — того, знаешь? Из шведских погребов...

— Шлиппенбаха обобрал! — усмехнулся Петр.

— А чего, батюшка, его жалеть-то? — в тон ему ответил Меншиков.

Кочет распахнул дверь, и в спальню вошла, неся поднос с кубками и чарками, Екатерина.

Повторялась та же сцена, как в лагере под Мариенбургом, с тою только разницей, что на месте Меншикова был сам грозный царь Петр

Алексеевич.

— Это кто же такая у тебя? — проговорил он, вперяя внезапно загоревшийся взор в лицо красавицы.

— Сиротка одна, всемилостивейший, — ответил Меншиков, внимательно наблюдая за царем, — говорят, благородного шведского рода... Вот хочу тебя за нее просить...

— В чем дело? — все не спуская глаз с Екатерины, спросил Петр.

— Хочу ее к сестре Дарье отправить, а ты из сих мест отъезжаешь, так не доставишь ли ты ее вместе со своей царской челядью на Москву? Одну-то, признаться сказать, боюсь ее с подлыми людишками отпустить.

Петр не ответил. Любуясь Екатериной, он принял из ее рук чару.

— Хорошо вино, — произнес он, — а хозяйка у тебя, пес Алексашка, и того лучше.

— Да не хозяйка, не хозяйка она моя! — воскликнул Меншиков. — Просто, батюшка, видя ее сиротство, приютил... Катерина! — обратился он по-немецки к молодой женщине. — Знаешь ли кто это? Это — наш великий царь, наш отец!

Краска залила лицо Екатерины.

— Я счастлива видеть государя, — ответила она на том же языке, — эта минута останется навсегда незабвенной в моей памяти...

— Пусть она уходит! — сказал, перебивая ее, Петр.

Меншиков даже побледнел, услышав эти слова. Ему показалось, что молодая женщина не понравилась его гостю.

А в душе Петра вдруг забушевала буря...

Вот-вот наконец пытка для души изменившей возлюбленной... Взять эту первую встречную и поставить на то место, где досель царила Анна... Да, да! Плети, батоги, горящие веники, клещи, клинья под ногти — все это пустое в сравнении с муками ревности, со скорбью о том, что потеряно... Он сам пережил все это, так пусть же и изменница негодная переживет те же муки!

— Вели, Алексаша, шахматы принести, — проговорил Петр, — сыграю я с тобой, дабы не скучно было тебе, больному, а о сиротке Катеринушке ты больше заботы не имей: я сам о ней позабочусь...

В душе Александра Даниловича запели по-

бедные гимны.

XXI

Новая звезда

Первая красавица Немецкой слободы, уже раздобревшая и поблекшая, узнала о своей опале только тогда, когда государь Петр Алексеевич возвратился в Москву. Московский народ словно почувствовал что-то новое в своем государе и встретил его уже не с прежней неприязнью. В Москве произвело большое впечатление и то обстоятельство, что, возвратившись, Петр не поехал, как это было всегда, прямо с дороги в любимую им Немецкую слободу, а, поклонившись московским святыням, отправился в свое Преображенское. Говорили, что вместе с ним прибыла с Невы новая немчинка — и молодая, и собой пригожая, и до московских людей приветливая и ласковая. Любители придворных новостей тайно шушукались о том, что эту свою новую даму государь увидел у Меншикова за какой-то домашней работой. Понравилась она его царскому величеству, и выиграл он ее в кости у своего любимого холопа.

Впрочем, о Катерине Васильевой (так царь приказал именовать Марту Рабе) говорили в Москве без всякой злобы. Она держалась просто, была приветлива и без всякой гордости. Кто к ней за советом ли приходил или с просьбой о ходатайстве, или с какой-нибудь другой нуждой, ко всем она относилась ласково: горюющих утешала, тревожащихся успокаивала и при всем том не мздоимствовала, как Анка Монс, а делала что могла Бога ради. Все это рождало если не любовь, то какую-то приязнь к новой подруге царя и желание, чтобы она надолго заменила Петру ненавистную Монсиху.

Анна, узнав, что государь не желает видеть ее, попробовала было бороться, но, должно быть, с годами недавняя вострушка сильно отупела; вздумала она возвратить себе любовь государя разными приворотными зельями и, конечно, на том сейчас же попалась. Царь вместо того, чтобы вернуть ей свою любовь, приказал возбудить против нее судебное дело да кстати велел прихватить в суд и ее сестру Матрену Балк с мужем, пощадив только младшего брата Виллима, красивого

бойкого юношу, славившегося среди своих земляков поэтическим дарованием.

Да и вообще заметно было, что царь охладил к иностранцам и хоть не разрывал былых своих связей, но отношения уже были не прежние. Все ближе и ближе стали к нему коренные русаки, из иностранцев оставались лишь те, которых долгие годы знал Петр и которым верил. Впрочем, самого себя и весь свой двор царь по-прежнему держал не по старомосковскому, а на иноземный лад. К своей Кетхен он относился с замечательной сердечностью. Очевидно, улегся юный пыл, страсти, обуревавшие могучую натуру, уже поуспокоились, да и организм, надорванный еще в детском возрасте, стал ветшать и требовать отдыха после бесчисленных жизненных бурь. В жизни Петра наступила та пора, когда всякий человек, кто бы он ни был, заботится о семейном очаге, о домашнем уюте. Нужна уже не жгучая, испепеляющая страсть, а добрая, кроткая, покоящая чувства любовь. И после всех бурь молодости Петр в мариенбургской пленнице нашел то, что ему нужно было: тишину и уют семейного очага, и даже

прежние дружеские попойки стали сравнительно редкими.

Заметив, что Екатерина Алексеевна (Марта Рабе уже приняла православие с этим именем и отчеством) скучает без женского общества, Петр решил создать для нее такой женский кружок, в котором она могла бы первенствовать. Ближайшею подругою Екатерины Алексеевны стала замужня сестра Меншикова Дарья; не брезговала бывать у нее с дочерьми и царица Прасковья (вдова Иоанна V), да и любимая сестра государя царевна Наталья Алексеевна нередко оставляла и свою библиотеку, и своего питомца, царевича Алексея, чтобы провести часок-другой с этой неглупой, всегда веселой подругой державного брата. Женщинам нравилось и то, что Екатерина Алексеевна была не прочь осушить чарочку вина, и не только они, но и сам царь Петр находил в своей новой подруге отличного собутельника.

Создавая женское общество для Екатерины, Петр вспомнил об одной сиротке, которая давно врезалась в его память. Поискали маленькую Машеньку Гамильтон (Гамильтову,

как ее называли на Москве), поднесшую ему букет на том давнем веселом пиру. Но, сколько ни искали, ее уже не было в Немецкой слободе, и никто не знал, куда она девалась.

Судебное дело, возбужденное против Анны Монс и ее сестры, было быстро доведено до конца. Страшное по тому времени преступление — колдовство было доказано. Но Петр не стал мстить страшно оскорбившей его женщине; ей повелено было сидеть дома, никуда не отлучаясь, и только под конвоем ходить в кирку.

XXII

В трудах без отдыха

Быстро промелькнула зима, и, едва стал таять снег, царь уже умчался на Неву, чтобы докончить начатое им великое дело.

Завоеванный русскими Нотеборг преграждал путь из Ладоги в Неву, а ближе к ее устью стояла другая сильная шведская крепость Ниеншанц, которую русские, населявшие этот край, называли попросту Канцами.

Крепость была разрушена, и из ее камней впоследствии были возведены многие постройки в городе, основанном царем на Березовом острове (нынешней Петербургской Стране в Петербурге).

Наконец свершилось то, о чем так мечтал Петр Алексеевич: ему было куда уйти от опротивевшей ему Москвы, было к чему приложить творческие силы. За Петербург пришлось выдержать упорную борьбу со шведами, которые не раз добирались до самых стен крепости. В той местности, которая ныне называется Каменным Островом, происходили

жесточайшие битвы за Петербург, и каждый раз шведы были разбиты, наступала короткая передышка, для жизни, для любви. В 1705 году двадцатитрехлетняя Екатерина Васильева была перевезена в Петербург и поселилась в маленьком домике государя вместе со своей наставницей Анисией Кирилловной Толстой.

Не до любовных утех было в то время Петру. Его могучий противник Карл наконец заметил русских, и России стало угрожать шведское вторжение. Собиралась могучая армия шведского короля. Притихла Москва. Все то, что составляло старую Русь, насторожилось и ожидало исхода.

Одной тревогой, правда, стало у Петра Алексеевича меньше: в 1706 году умерла царица Софья, и стрельцы потеряли тот центр, около которого постоянно зрели все их мятежные замыслы.

Эти годы Петр проводил в разъездах и, не видя подолгу своей подруги, влюблялся в нее все более и более. Он постоянно писал ей, все его письма, даже незначительные писульки начинались словами: «Марта, здравствуй, Мудер, Катеринушка, друг мой». Катеринушка

словно любовным корнем обвела Петра, даже в разгар своей ожесточенной борьбы с Карлом он помнил о ней и заботился. Так, он велел ей с дочерью Анной выдать три тысячи рублей, что при скупости Петра составляло огромную сумму.

Что же влекло государя к этой женщине, лишенной всякого образования? Черты ее лица были скорее неправильны; она вовсе не была красавицей, но в ее полных щеках, во вздернутом носе, в темных, горящих огнем глазах, в ее алых губах, в круглом подбородке, в роскошном бюсте таилось столько жгучей страсти, столько неведомого изящества, что впечатлительный царь с каждым днем все более и более привязывался к своему «сердешенькому другу». С нею, Катериночкой, являлось к нему веселье, она, кстати, и ловко умела распотешить сумрачного друга, говорила, что его горе — это и ее горе, его радость — ее радость, словом, Екатерина была или, может быть, умела казаться лучшим и преданнейшим другом. Но в эти годы, как ни любил ее Петр, а все-таки, наученный горьким опытом, он и не думал о свадьбе с ней. У них ро-

дились дети — дочери, но «сердешненький друг Катеринушка» все еще не была венчана с их отцом.

XXIII

Тайные думы фаворита

Меншиков сумел сохранить огромное влияние на Екатерину Алексеевну, но и он не особенно торопился вывести цареву возлюбленную в русские царицы: для этого еще не настало время, у царя Петра бывали такие мгновенья, когда он с грустью вспоминал свою первую пылкую любовь. И Анна Ивановна Монс была жива, и во что бы то ни стало Меншикову нужно было окончательно погасить любовь к ней в сердце его властелина.

Анна постоянно старалась напоминать о себе своему бывшему возлюбленному: унижалась до жалкого выклянчивания ничтожных подачек, а когда убедилась, что это не действует, вздумала возбудить в царе ревнивое чувство.

Однажды хмурый Меншиков поднес государю ходатайство прусского посланника Кейзерлинга за Анну Монс. Потемнело лицо царя, вспомнились ему те обманы, какие приходилось пережить, но опять сдержался, ни слова

не сказал своему фавориту, не наложил на ходайство никакой резолюции.

— Кстати, ваше величество, — сказал весело Александр Данилович, — что-то давно не было никаких веселостей, и скука всех одолевает. Думаю я устроить малый вечерок...

— Что ж, доброе дело! — ответил государь. — Все работа да работа! Устал.

— Больше всех нас устаешь ты, государь! — воскликнул Александр Данилович. — Так склонись на мою просьбу: не откажи прибыть на мое веселье.

— Ладно, погляжу там, — мрачно косился Петр на бумагу.

— Да, вот еще, — напирал Меншиков, — думаю я иностранных послов позвать. Так, может, ты позволишь намекнуть им, что не их дело в твои царевы дела мешаться и беспокоить своими просьбами за всяких людишек?

— Что ж, не худо то будет, — согласился Петр. — Только остороженько сделать надо.

— Будь спокоен, государь, — ответил Александр Данилович, — так все устроим, что комар носа не подточит!

— Делай, как знаешь, — махнул рукой го-

сударь.

Меншиков поспешил уйти.

— Что, плохи дела, милостивец? — спросил его Кочет.

— Пошел к черту! — заорал Меншиков.

Да, плохи были дела пронырливого царедворца. В вихре хитросплетенных, тончайших придворных интриг он часто рисковал своею собственною головою. Сейчас этот риск особенно вырос, хотя и Данилыч стал другим. Пока он был молод и ничтожен, то изоощрял свои способности для того только, чтобы устроить, вознести себя повыше, обеспечить себе будущее; он не останавливался ради этого ни пред чем. Поняв всю сложную натуру друга-царя, верно уразумев основы его характера, Александр Данилович то потакал грубейшим, низменным инстинктам Петра, то начинал громить его с такою дерзостью, на какую никто не осмелился бы. И в конце концов он добился своего: поднялся так высоко, как еще никто не подымался в России. У него теперь было все: и несметные богатства, и почести, и беспредельная власть — все, все...

Александр Данилович привык и к работе,

которую он делал вместе с царем. Он втянулся в эту работу, как игрок втягивается в карточную игру. Часто рисковал, но, когда было нужно, ставил на кон свою голову, не задумываясь снимать и чужие головы, если выигрывал.

Теперь он затевал игру, самую, пожалуй, рискованную. Он прекрасно знал, что нет-нет да и вспомнит его повелитель о кукуевской прелестнице; видел, как затуманивались его глаза. Ничто — ни любовь друга-Катеринушки, ни упоение славою, ни победы над друзьями грозного соперника, ни быстрый рост Петербурга — не изглаживало из души царя памяти о первых днях первой радостной любви.

Меншиков знал это и боялся. Ведь царь был так впечатлителен, так легко поддавался порывам, что даже близкие к нему утром не знали, что будет в полдень.

Но было и другое обстоятельство, заставлявшее Меншикова среди ночи просыпаться в холодном поту: со дня на день могла выдвинуться и преградить ему путь еще одна женщина. Уже многие годы она была только те-

ню, теперь же становилась кошмаром, и Александр Данилович дрожал всякий раз, как вспоминал о ней.

Эта женщина-тень, если бы только захотела судьба, в одно мгновение могла бы стать выше всех в русском народе. Без малейшего усилия она смяла бы, стерла с лица земли всех Аннушек, Катеринушек; первым пал бы с высоты в бездны небытия все тот же Александр Данилович Меншиков, которому она обязана была тем, что из роскошной красавицы стала только черной тенью.

Но вместе с ее возвеличением, с ее возвращением из небытия к бытию разом рухнуло бы все дело преобразования. Все, что совершил могучий царь, погибло бы... Погибла бы и народившаяся военная мощь, погибли бы и зачатки наук, погиб бы и новосозданный красавец-город — все, все погибло бы...

Эта женщина-тень, этот страшно мучительный для Меншикова кошмар была заточенная в монастырь царица Евдокия Федоровна.

Ее сын подрастал. Не по дням, а по часам вытягивался болезненный, но пережитыми

несчастиями развитый не по летам мальчик. Недаром же воспитывала его образованнейшая в России женщина того времени, его тетка, девушка-вековуха, царевна Наталья Алексеевна.

Она не была враждебно настроена против брата, но быстрота, с которой он стремился вперед, грубо ломая на пути все, что ему попадалось, пугала и ее. Она вся отдалась делу воспитания наследника-царевича, просвещала его книжной премудростью, но не могла вытравить из его сердца, из его души память о несчастной матери.

Царевич Алексей, столь же впечатлительный, как и отец, считал ее страстотерпицею, великомученицею. Он, не зная матери, страстно любил тетку, но страх пред отцом заставлял его скрывать все чувства, притворяться, лгать, и из всего этого создавалась быстро возраставшая неприязнь против родителя, которая с течением времени начала обращаться в ненависть.

Александр Данилович, стоявший ближе, чем царь, к жизни народа, знал, что повсюду была масса людей, с величайшей надеждою

ждавших, когда царевич подрастет. В то время как его могучий преобразователь-отец был почти один и опирался только на грубую силу, его слабый, тщедушный сын был с народом и опирался на его любовь. Народ терпеливо ждал того времени, когда возмужает наследник, а тогда... тогда... Что стрельцы! Если горсть пьяных буянов могла потрясать устойчивость государства, то воля всего народа мигом сокрушила бы хрупкое, основанное на непрочном фундаменте здание петровских реформ.

Все это соображал фаворит, стараясь заглянуть за завесу грядущего.

Он знал, что лава уже кипит в новом вулкане. По глуши русской земли бродили юродивые и пророчествовали о скором пришествии светлого царевича на смену духу тьмы, порождению антихристову. Во многих церквах поминали наравне с царем «благочестивейшую и великую государыню Евдокию Федоровну». Духовные особы, и не малого чина, из Москвы на поклон ездили к бывшей царице. Нужно было тушить пожар, пока не поздно. Царь же, как на грех, все чаще и чаще призывал к себе сына, ласков был с ним, да и

письма из Покровского суздальского монастыря от инокини Елены почитывал без гнева и с вниманием... Как отвратить царя от всего этого?..

Но сперва надо бы управиться с кукуевской прелестницей, и Меншиков решил разом покончить с нею; с этой целью он и устраивал веселый званый вечер, на который пригласил и государя.

XXIV

Прусский посланник

Граф Георг Иоганн фон Кейзерлинг, прусский посланник, был для «Монши» (так тогда называли кукуевскую прелестницу) покровитель надежный: он для царя недосыгаем, и руки у него развязаны. Был он человек недалекий и притом упрямый. Если начинал что-либо, хотя бы любую глупость, то с упорством, достойным лучшей участи, доводил начатое до конца. Был он и на язык неосторожен. Меншикову — плюс.

Когда Кейзерлинг начал хлопотать о Монше, то прежде всего стал грозить, что всю «эту историю» он напечатает в немецких газетах. Конечно, это было доведено до ушей Петра. Царь страшно вспылал, но вынужден был затаить гнев. А Кейзерлинг издевался, рассказывая, как будут читать в Европе про любовные похождения московского царя и как зло станут смеяться над неудачным любовником кукуевской прелестницы.

Нужно было показать зазнавшемуся нем-

цу его место...

Александр Данилович щегольнул своим званым вечером. Богатейше, по-праздничному был разубран его дом. Тысячи восковых свечей горели и в залах, и в примыкавших к ним комнатах. Не смолкая гремела хоровая музыка, веселя собравшихся знатных гостей. А тут были все близкие к Петру придворные — все новые люди для России и Европы; явился весь тогдашний дипломатический корпус, с чопорным английским послом Чарльзом Видвортом во главе, блистая великолепием одежд, бриллиантами украшений. Были и дамы, но их приехало немного: известно же, что вечер закончится попойкой, на которой уважающим себя женщинам не могло быть места.

Царь запоздал и, когда гости собрались, его еще не было. Меншиков был приветлив с Кейзерлингом, не отходил от него ни на шаг, и тупой немец, по всей вероятности, воображал, что всемогущий фаворит заискивает пред ним.

Меншиков был так любезен и мил, что

Кейзерлингу показалось, будто наступило самое удобное время, чтобы частным образом разрешить такой близкий ему вопрос, как снятие опалы с «девицы Анны Монс». Недолго думая, он заговорил:

— Не будет ли сей день великого веселья вместе с тем и днем милости?

— О чем ты говорить изволишь, любезный граф? — представился удивленным и не понимающим вопроса Александр Данилович.

— Да все о том же, дорогой князь (Меншиков в то время уже имел этот титул)... Или ты не понимаешь нашего разговора? Нельзя ли будет склонить его царское величество принять на службу только что прибывшего из-за границы Виллима Монса и простить его несчастную сестру...

— «Несчастную», говоришь ты, граф? — лукаво посмотрел на него Меншиков.

— Да, да, я говорю так! — с пылом воскликнул граф Георг. — Разве не несчастна эта ни в чем не повинная страдальца, силою вынужденная вести такую жизнь, какую ведет она теперь?.. Это постоянное пребывание в доме, этот непрестанный досмотр за нею князя Ро-

модановского... И за что? Кто мстит бедной женщине?

Прусский граф сам шел в расставленные ему сети.

— Оставь, граф! — меняя тон, с величайшим пренебрежением в голосе воскликнул ижорский князь. — Все ее беды от ее развратничанья!

— Что? — побагровел Кейзерлинг.

Меншиков повторил свой ответ в еще более грубых выражениях, называя вещи и понятия их собственными именами.

Разговор стал принимать бурный характер. На грубость фаворита Кейзерлинг ответил грубостями, Меншиков не уступал, ссора разгоралась.

— Что тут такое? — раздался громкий, властный оклик, заставивший всех вздрогнуть.

Никем не замеченный вошел царь. Он постоял на пороге несколько мгновений, слушая перебранку, и наконец, найдя нужным вмешаться, быстро подошел к спорившим.

Испуганные, они отскочили друг от друга.

— Ну, из-за чего у вас начинается драка? —

спросил пока не гневно государь. — Петухи, вы, право! Только еще сошлись и уже ссориться начинаете.

— Не извольте гневаться, ваше царское величество, — скрипя от злости зубами, заговорил прусский граф, — начал ваш князь Меншиков поносными словами позорить мою персону...

— Из-за чего, Алексашка? — исподлобья взглянул на любимца царь Петр.

— Да помилуй, великий государь! — воскликнул Меншиков. — Восхваляет граф Моншу, она-де — страдальца...

— Да что ему до сей развратницы?

— Государь, — пылко воскликнул Кейзерлинг, — девица Монс — женщина... Долг чести каждого благородного человека — вступить за угнетаемую женщину. Я просил князя исходатайствовать у вашего царского величества разрешение ей на бракосочетание со мной, а он начал позорить ее...

Лицо Петра потемнело, глаза засверкали, но он все еще сдерживался.

— Воспитывал я оную Моншу для себя самого, — проговорил он, — с искренним жела-

нием жениться на ней, но так как она, тобою, граф, прельщена и развращена, то я ни о ней самой, ни о ее родственниках ничего ни слышать, ни знать не хочу...

— А я скажу, — вдруг даже привзвизгнул Александр Данилович, подступая к самому графу и зачем-то подбочениваясь, — что девушка Монша — действительно публичная баба, и я сам с нею развратничал столько же, сколько и ты, граф!

Это было уже слишком! Но у Кейзерлинга еще оставались крупницы благоразумия. Он сдержался и ответил:

— Будь мы в другом месте, князь, я доказал бы тебе, что ты поступаешь не как честный человек, а как...

Какое слово употребил здесь для сравнения разгневанный посол, об этом не сказано даже в его собственноручных письмах к прусскому королю Фридриху, но, должно быть, было сказано что-либо обидное, потому что Меншиков кинулся на Кейзерлинга, желая бросить его на пол подножкой.

— В этом искусстве, князь, ты упражнялся, — ловко увернувшись от подножки, кинул

ему Кейзерлинг, — когда разносил по улицам лепешки на постном масле и когда после того был конюхом...

Кругом были представители всей тогдашней Европы. Они молчали, не зная, что сказать, как успокоить ссорившихся. Остервенившийся же после полученного оскорбления Меншиков надвигался на своего оскорбителя, что-то крича ему и размахивая руками.

Вспыльчивый Кейзерлинг выхватил шпагу. Он был искусен в фехтовании и, несомненно, ранил бы, если бы не убил Меншикова, но в это время к ним поспешил с обнаженной шпагой в руке сам государь.

Его появление вызвало испуганные крики. Ведь граф Георг был представителем могущественного государства, и его оскорбление поставило бы Россию лицом к лицу с самой Пруссией.

Толпа дипломатов, глазевшая на скандал, разом отхлынула. Многие дипломаты отодвинулись далеко в сторону, делая вид, что ничего не замечают, или, по крайней мере, принимают все происходящее за шутку.

Раздраженный царь со шпагой в руке на-

ступал на прусского графа, к нему присоединился Александр Данилович. Кейзерлинг фехтовал мастерски, несмотря на то, что гнев ослеплял его.

— Как это хорошо, как это по-рыцарски! — презрительно говорил он, парируя удары и атакуя сам. — Двое на одного!

Последняя вспышка

Скандал был полный. Ни царь, ни Меншиков не были опытны в искусстве владеть шпагой. Они делали грубые промахи, открывая себя для выпадов противника. Но как ни был ослеплен Кейзерлинг гневом, он понимал, какие могут быть последствия, если он хотя бы ранит московского царя, и потому ограничивался лишь тем, что отбивал его удары, отбивал легко, как бы шутя.

Положение Петра было уже не опасным, а прямо-таки смешным. Молодые дипломаты с трудом удерживались от улыбок.

Это понял тайный фискал Петр Павлович Шафиров, человек низкого происхождения, вытянутый царем из ничтожества на высоту. Нужно было как-нибудь поправить дело.

Положение Петра было бы еще более смешным, если бы он сам прервал этот неожиданный поединок. Это дало бы повод к ядовитейшим толкам и сплетням: прусский-де посол «отделал» московского царя, за-

теявшего с ним ссору из-за жалкой потаскушки...

Шафиров сообразил все это и вдруг, когда шпага валилась из рук утомленного и запыхавшегося Петра, бросился с громким криком между дерущимися.

— Великий государь! — закричал он. — Пощади сего неразумного! Тебе ли, царю могущественному, беспокоить свои руки обо всякого иноземного холопа?!

Хорошо, что Кейзерлинг плохо понимал по-русски, а то пощекотал бы острием своей шпаги кожу еврея-придворного. Но ему не до того было в эти мгновения...

Едва была прервана схватка, на него налетели меншиковские слуги, шпага была вырвана из рук, самого подхватили и потащили к дверям, пока еще только легонько подталкивая в спину. Но, как только он был выведен из зала, холопы ижорского князя перестали стесняться. Кейзерлинг был спущен с лестницы, внизу он попал в руки гвардейцев, а те тоже не замедлили показать знатному пруссаку, как в России провожают гостей. Посол Фридриха Великого был вышвырнут за двери,

где долго приходил в себя.

Стоя на холоде, Кейзерлинг тупо стал припоминать подробности происшедшего... Потаповка между ним и ижорским князем оказалась боевой: Меншиков порядочно поколотил его, у посла болела грудь, ломило левую сторону лица, да и в спине чувствовалась сильная боль, зато Кейзерлингу было чем утешить себя: он припомнил, что успел дать не одну затрещину Александру Даниловичу и перед схваткой, и когда тот собственноручно вытаскивал его из зала...

Но было и другое, чем утешал себя побитый посол. Немецкий сентиментализм подсказывал ему, что он — герой, рыцарь без страха и упрека, он пострадал за даму своего сердца...

Так стоял побитый граф Георг Кейзерлинг, размышляя о всем происшедшем и даже гордясь собою...

А царь Петр, образумленный Шафировым, сожалел о происшедшем.

— Вечно ты затеваешь то, чего и сам не понимаешь! — с неудовольствием сказал он Александру Даниловичу. — А я изволь отве-

чать за твои глупости! Советую тебе примириться с графом.

Государь был и в самом деле недоволен. Слишком уже казусное дело выходило тут.

Кто мог знать, как оно разыграется, но всегда в таких случаях самое лучшее перед дурной игрой делать веселое лицо. Так и поступил государь, и, как будто ничего и не было, закипел веселый пир. Веселым казался царь Петр Алексеевич, заходила круговая чарка, табачный дым облаками застилал залы; не сядя за стол, бегал от гостя к гостю радушный хозяин князь Александр Данилович с синяком под глазом, так и сыпались направо и налево его веселые шутки-прибаутки, а на душе кошки скребли: царь будто вскользь заметил своему любимцу:

— Хорош презент приготовил ты мне ко дню моего тезоименитства, нечего сказать! Вон погляди на них! — и указал глазами в сторону иностранцев. — Смеются в своих душах, подлые, и мысленно рапорты своим владыкам сочиняют.

— И пусть их себе, государь! — весело потрянул головой Александр Данилович. — Сочиняют!

нять-то все можно, можно и послать, а вот дойдут ли?

Царь зорко посмотрел на него:

— Ой, Алексашка, задумал ты что-то непотребное...

— И ничего, государь, не задумал, — последовал быстрый ответ, — так, к слову сказал, чтобы успокоить тебя...

Но Меншиков и сам понимал, что затеял дело, которое вряд ли могло кончиться добром: тяжкое оскорбление иноземного посла было налицо, и еще никому неизвестно было, как отнесется к этому прусский король. Однако что сделано, то сделано. Меншиков понесся вперед, очертя голову.

По дорогам к границе понеслись курьеры, чтобы опередить посланцев, представителей английского, французского, польского дворов и других, бывших на злополучном «званом вечере» дипломатов, и каким бы то ни было способом их донесения своим государям изъять или по крайней мере возможно дольше задержать этих посланцев в пути. Сам же Меншиков с утра начал делать все, чтобы примириться с Кейзерлингом, и даже сам

царь усердно помогал ему в этом. Сначала спесивый граф ломался; плохой дипломат, он был уверен, что его король примет как личное то оскорбление, которое было нанесено ему, Кейзерлингу.

Так, вероятно, и было бы, но Меншикову везло.

В Польше разгорелась борьба за трон. Боролись два претендента на него — Август Саксонский и Станислав Лещинский. Прусский король Фридрих держал сторону последнего и заискивал пред царем Петром. При таких обстоятельствах он и не подумал принимать близко к сердцу оскорбление его посла. Граф Кейзерлинг получил от него порядочную нахлобучку и должен был даже извиниться пред оскорбившими его людьми. Чего не делает политика! Вскоре он был отозван, но рыцарски сдержал свое слово: женился на Анне Монс. Однако судьба уже отвернулась от кукуевской прелестницы: ей жилось очень скверно, и недолго пришлось быть настоящей графиней — Кейзерлинг умер, и его «графиня» осталась в России.

Однако сам Меншиков не выиграл ничего

из этой ссоры с прусским послом, хоть еще более отдалил от царя его бывшую возлюбленную. Но графиня Анна Ивановна Кейзерлинг все-таки осталась в России и все в той же Немецкой слободе. Ее жизнь в семье покойного мужа оказывалась нестерпимой — там над нею издевались даже слуги, и она предпочла вернуться домой, в прежнюю, привычную ей обстановку, уже не думая возвращать себе любовь царя Петра.

Да и царю в ту пору было не до любовных утех.

Наступал роковой момент. Коронованный северный викинг Карл XII наконец удостоил Россию своим вниманием и счел Петра настолько достойным себя, чтобы прийти и разбить его наголову.

Наступил 1708 год. Карл XII со своими закаленными в боях дружинами вторгнулся в пределы России. Петр срочно покинул Петербург, чтобы достойно встретить долгожданного гостя.

Отъезжая, государь кроме наказа Апраксину беречь Петербург обмолвился еще одним

словом, которое всех слышавших его повергло в недоумение, задав им такую загадку, которую они не в силах были разгадать.

— Берегите жену мою, — сказал государь уже при выезде из Петербурга.

Жену? Про кого говорил царь? Всему народу было известно, что Евдокия заточена в Суздальском монастыре. Неужели он надумал возвратить России законную царицу, а сыну-наследнику — любимую мать?

Но не про инокиню Елену говорил государь. Один только обер-комендант Петербурга Брюс мог бы сказать, кто была та, кого царь приказал беречь... Он помнил, как в холодный ноябрьский день по нарвскому тракту, мимо Сенной площади во весь опор по направлению к измайловским слободам мчалась лихая тройка. В санях сидели двое — мужчина и женщина: царь Петр Алексеевич и «друг его сердешненький Катеринушка». Сзади на другой тройке мчался, едва поспевая за царем, петербургский обер-комендант Брюс. Царская тройка остановилась около маленькой полковой церкви святой Троицы. Государь и его спутница вошли туда, был при-

зван священник, и недавняя мариенбургская пленница вышла из храма русской царицей...

Пока Петр находил нужным держать в тайне свой брак. Быть может, считал его исключительно своим личным делом, быть может, не был уверен в исходе своей борьбы с Карлом и боялся раздражать народ, но только при этой скромнейшей свадьбе никого, кроме Брюса, не было, и ее тайна была сохранена.

В то время у государя были уже дочери Екатерина, Анна и Елизавета, и, отъезжая на Украину, он обеспечил свое новое семейство имевшимися в его распоряжении четырнадцатью тысячами рублей — суммою огромною по тому времени.

Тяжелая борьба выпала на тот год. Либекер пробрался в верховья Невы и пытался переправиться у Пелловских порогов, близ нынешнего села Ивановского, на левый берег, чтобы разорить «строительные конторы» на Тосне. Но адмирал Синявин, скрывшийся в устье Тосны, встретил на невском просторе врага так, что шведская флотилия была рассеяна. Либекер попробовал напасть на Петербург со стороны залива, но был разбит наго-

лову у Копорья. Борьба за Петербург была закончена.

А вскоре на весь мир прогремел гром Полтавской победы. Судьба начала благоволить Петру. Победа при Головчине была последней для Карла XII, победа русских у деревни Лесной стала матерью «Полтавской виктории». Звезда Карла померкла после Полтавы и закатилась на берегу Буга, откуда он бежал, разбитый, уничтоженный и преследуемый теми самыми нарвскими беглецами, которых он так презирал с первой своей боевой встречи с ними.

В степях Украины, как говорил Петр, «фаэтонов конец восприяла» шведская, недавно непобедимая армия.

Вместе со шведами в России были надолго побеждены и все те, кто был против петровских преобразований.

XXVI

Собирающиеся тучи

Между тем после счастливого года надвигалась грозовая туча: Турция объявила войну России. Причины были ничтожные: поводом к войне явилось то, что русские, преследуя разбитых шведов, перешли границу Молдавии и нарушили нейтралитет.

Должно быть, нехорошо было на душе у царя Петра в эти месяцы. Он ясно видел, что предстоявшею турецкою войною он всецело обязан французскому королю Людовику IV, который желал бы во что бы то ни стало лишить Петра и Россию преобладающего влияния в северном союзе, направленном против Швеции. Карл, находившийся в Турции, не мог бы повлиять на султана так, чтобы тот решился на военные действия, когда Россия не давала повода к ним. Все это было известно царю, но он тщательно скрывал от всех свое беспокойство.

В этом году случилось несчастье, нагнав-

шее страх на многих в Петербурге: Нева стала, лед совершенно окреп, и вдруг в ночь с 10-го на 11 декабря без всякой причины, даже без ветра, река вскрылась, и льда не осталось и следов.

— Дурное знамение, — говорили в народе.

Вскрывшаяся Нева стала опять 29 декабря, но новый 1711 год, первый, встреченный царем на берегах Невы, прошел при общем унынии и смутном беспокойстве. Иллюминационные огни горели, казалось, более тускло, чем когда-либо. Транспаранты, зажженные на площадях, словно отражали своими надписями тревожное состояние духа царя. В предчувствии близких бед Петр с покорностью отдавал себя и свою судьбу в руки Провидения, и это особенно было заметно в сочиненных им надписях. На одном из транспарантов, на темном поле, светилась звезда с надписью под нею: «Господи, покажи нам пути Твоя!» На другом транспаранте был изображен столб со скрещенными мечом и ключом и надписью: «Идеже правда, тамо и помощь Божия».

Еще больше уныния нагнали на петер-

буржцев отъезд царской семьи в Москву и предшествовавшая ему кончина молодого супруга принцессы Анны.

— Вот она, Нева-то! — толковали всюду. — Недаром среди зимы вскрылась.

— Если бы на этом и кончилось! — говорили наиболее суеверные. — А еще впереди что будет...

— На войне-то?

— А хотя бы и на войне... Турки — не шведы: кто одолеет — одному Богу известно...

Москва угрюмо и мрачно встретила нелюбимого царя... Больше десяти лет прошло с тех пор, как она была залита стрелецкой кровью, и здесь не были забыты ужасы массовых казней. Даже гром полтавской победы не заглушил плача и стона стрелецких вдов и сирот, а тут вдруг забили во всю мощь колокола кремлевских соборов, призывая народ молиться о даровании новых побед в борьбе с неверными.

— Ужо будут те победы, — втихомолку толковали москвичи. — Покажет те турецкий султан!

— Сам царь обнемчился, — шушукались в других кружках, — и все, кто с ним, тоже... Поганцами стали, только храмы Божии сквернят... Дымочадцы табачные...

— Только бы царевич скорее сил набирался да к престолу был годен! — высказывали трети. — Он весь в блаженной памяти деда, даром на рожон лезть не будет и своего народа иноземцам на пагубу не отдаст...

Царевич Алексей Петрович был в это время в Берлине, усердно учился. Быстрый ум его легко схватывал и усваивал всякие «книжные премудрости», по своему времени он был прекрасно образован, но в то же время у него была душа русская, не озлобленная на свой народ. Он прекрасно понимал необходимость новшеств, но только без стрижки бород и багатов. Усердные у него были воспитатели: его тетка, царица Наталья Алексеевна, знаменитый педагог Никифор Вяземский, князь Долгорукий и иностранец барон Гюйзен.

Много страшного рассказала и другая тетка, царица Мария Алексеевна, единственная уцелевшая дочь царя Алексея от Милославской.

Около царевича все чаще и чаще стал появляться один из видных сподвижников царя Афанасий Иванович Кикин, президент адмиралтейств-коллегии, человек высокого ума и образования, сторонник полезных государственных реформ, но противник ненужной спешности в проведении их.

— Не спеши, — говаривал он царевичу. — Твое время еще придет.

И царевич таил свои думы и ждал, ждал с нетерпением, зная, что весь народ с восторгом встретит его, народного царя...

А в Москве на все лады повторяли слова Алексея Петровича:

— Из-за гнилого болота да православный люд губить?.. А Москва на что? Чем она хуже стала? Вот буду я, так у меня мой народ здоров будет... на питерское болото и глядеть не стану...

XXVII

«Матка Катеринушка»

Царь, мучимый предчувствиями, спешил все устроить на случай несчастья. Был учрежден правительствующий сенат, который должен был править вместо царя всеми государственными делами; Меншиков был оставлен губернатором всего Приневского края. Москве была сообщена и еще одна новость, которая как громом поразила всех. В день

1 марта была объявлена русскою царицею благочестивейшая супруга царя, государыня Екатерина Алексеевна... В Москве и раньше слышали про нее, да только и не думали, чтобы она стала царицею... И про кукуевскую прелестницу то же самое говорили, да «в жалости» кончала она свои дни, а тут такое дело обозначилось!.. И сразу, словно снег на голову пал... Но и подумать о новой вести времени не было: прямо с напутственного молебствия царь умчался со своею «хозяйкою» из Москвы... Так и остались москвичи, рты разинув

от неожиданности да затылки почесывая.

Военное счастье как будто отвернулось от полтавского победителя. В Москве он перемогался, но в пути тяжкая болезнь заставила его лечь в постель. В Луцке Петр чувствовал себя так плохо, что «не чаял живота себе». Но богатырская натура превозмогла недуг. Он оправился немного, так, что мог продолжать свой путь дальше.

Ему шел только пятый десяток, но излишества детства, порочная юность, страсти в молодости и непомерная работа в начале зрелых лет надорвали здоровье. Царь все чаще и чаще начал прихварывать. Даже незначительные попойки вредно отзывались на нем. Его тянуло к мирной семейной жизни, в круг родимых детей, а тут, усталый, измученный, он должен был перекосить все труды походной жизни, постоянно волноваться за исход самых ничтожных стычек. Впереди же его ждало тяжелое горе, такой удар, какой не приходилось испытывать со дней нарвского погрома.

На Пруте, благодаря измене молдавского

господаря Кантемира, русская армия попала в ловушку, откуда ей не было выхода. С Петром было всего 37 тысяч пехоты и конницы, эту армию окружили 200 тысяч турок и татар. Русским оставалось или погибнуть, или сдаться; царь Петр на Пруте был уже как бы в турецком плену...

У урочища Новое Станелище целый день была битва. Турки не прорвали русской обороны, но и русские не могли пробиться сквозь их толщу; к утру следующего дня вокруг попавшей в ловушку армии выросли вражеские укрепления, четыреста пушечных жерл глядели в упор.

Страшные мгновения испытывал Петр. В его палатке собрались генералы. Грозно смотрел на иностранцев царь. Ведь это генерал Ренне настоял на том, чтобы идти на Прут, и царь считал, что своим позором он обязан иностранцам. Теперь же отовсюду раздавались голоса о сдаче; царя убеждали, что сопротивление невозможно, гибель армии неизбежна, Петр метался: позор! Царь в плену! Как встрепенется ненавистная Москва! Царь в плену! Да ведь это — гибель всего, что

уже сделано. Все погибнет — все начинания, дела...

И вот в такие-то страшные мгновения в палатку вошла «свет Катеринушка». Она явилась без зова к своему хозяину, чувствовала, какая страшная тоска грызет его сердце, чувствовала и явилась утешить.

Но чем?

Одни говорили о гибели, другие — о позоре, который хуже гибели; царица же заговорила совсем о другом — о мире. Это было предложение, которого никто не делал ранее, и царь ухватился за него, как утопающий за соломинку.

— Погибнуть всегда успеем, — сказала царица, — хитрости в том нет, а попытка — не пытка, спрос — не беда! Не захочет визирь мириться — ну тогда пусть исполнится воля Божья.

Голос любимой женщины ободрил павшего духом царя; он уверовал, что еще не закатывается его звезда, что бережет его судьба для будущих великих дел.

Медлить было некогда...

XXVIII

Бриллианты царицы

Прошло немного времени, и к великому визирю был отправлен унтер-офицер Шепелев в сопровождении сына фельдмаршала Шереметьева — Михаила. Он вез визирю шкатулку с бриллиантами царицы. Екатерина отдала почти все, что у нее было с собою, лишь бы задобрить алчного турка. Петр мрачно наблюдал, как собирала жена свои драгоценности, и разгоралась в его сердце любовь к этой женщине. Неторопливая, величественная, она была настоящая царица, жертвующая всем ради спасения мужа, государя, трона его.

Кругом грохотали турецкие пушки, их ядра разносили смерть, но Петр в эти мгновения уже верил, что попытка удастся, что добро и любовь спасут его от позора. Он не ошибся. Вдруг турецкие батареи смолкли, визирь пригласил русских уполномоченных для переговоров...

В турецкий лагерь были посланы барон

Петр Павлович Шафиров и сын фельдмаршала Михаил Шереметьев. Царь уже готов был уступить туркам Азов, Таганрог, все завоеванные области по Днепру и Бугу, мало того, он соглашался отдать шведам все отнятое у них, кроме Приневского края, взамен которого он соглашался уступить Псков. Но, к его великому удивлению, требования турок были более снисходительны, чем можно было ожидать. Видно, шведский король Карл XII, бежавший после Полтавы в Турцию, порядком надоел великому визирю.

— Я желал бы, чтобы черт взял его, — в сердцах сказал визирь Шафирову, — потому что вижу теперь, что он — только именем король, а ума в нем ничего нет. Буду стараться отпустить его куда-нибудь поскорее!

Шафиров, хитрый, вкрадчивый еврей, мигом оценил обстановку, и вот они уже друзья с визирем, «великим полководцем и мудрейшим человеком». И мышеловка, прихлопнувшая было русского царя, раскрылась пред ним. А тут еще царица отдала самое последнее, золото, визирь совсем подобрел, а Петр Алексеевич после этого стал еще более лю-

бить «сердешненькую Катеринушку».

Царь был выпущен. Вместе с армией. Напрасно Карл, сломя голову прискакавший из Бендер, и ласково, и с бранью уговаривал великого визиря изменить свое решение, уничтожить русских, тот остался непреклонен. Предварительные мирные переговоры были закончены, и величайшее военное несчастье завершилось не так уж и страшно.

Пережитое потрясение не прошло бесследно для государя, уже прибывшего к армии больным. Военные дела призывали его под Штральзунд, но он уже не мог отправиться туда. Нужно было лечиться, и Петр уехал на Карлсбадские воды; Екатерина, проводив его до границы, осталась в Торне.

Несколько отдохнув, царь снова стал метаться по стране — в делах, боях, походах, иначе было нельзя — заканчивалась его великая борьба со шведами. Редко видал он своего «сердешненького друга», зато самой горячей любовью дышали его письма к жене.

Екатерина Алексеевна умела поддерживать в своем царственном супруге такую лю-

бовь: никогда не корила его мимолетными изменами, но в то же время не упускала случая показать, что она ревнует его, дескать «старик-батюшка» позабыл ее, у него, видать, новые «портомой» завелись, так ее ли, «старую, утешаясь с ними, вспоминать?».

Петр, читая ее письма, светлел лицом, был весел, приветлив, милостив. Тут же садился писать ответные писульки. Он утешал свою «матку четверную», что она может быть спокойна: «иных государств портомой», когда есть своя, не привлекают его...

Это была идиллия...

А между тем судьба готовила ему новые испытания. Она как будто создавала для него призраки счастья только для того, чтобы еще сильнее, еще болезненнее разбить его сердце.

А пока были мир и покой. Душевной теплотой дышат письма Петра к Екатерине. Суровый деспот, человек с железным характером, Петр по отношению к Екатерине был неузнаваем. Он посылал «матке матерью по желтой земле да кольцо», а «маленькой» (дочери) — «полосатую матерью» с пожеланием носить на здоровье, либо покупал для нее

«часы новой моды, для пыли внутри стекла» да печатку, да «четверной лапушке втрайом с извинением, что более за скоростью достать не мог, ибо в Дрездене только один день был»; в другой день часы и печатки заменялись «устерсами» (устрицами), которые отправлялись в том числе, «сколько мог сыскать». Посылалась иногда и бутылочка венгенского с убедительнейшею просьбою: «Для Бога не печалиться, мне тем наведешь мнение, а мы про ваше здоровье пили».

Забывая первенца-сына и его воспитание, решительно изгладив из своей памяти злополучные образы своей первой супруги и первой метрессы, Петр как зеницу ока хранил «сердешненького друга». Вот что он пишет Екатерине в Торн: «Поезжай с батальоны — только для Бога бережно поезжай и от батальонов ни на сто сажень не отъезжай, ибо неприятелей округ зело много и непрестанно выходят из леса великим путем, а вам тех лесов миновать нельзя».

Счастлирое, святое время для Петра, время огромной, бескорыстной его любви...

XXIX

Конец прелестницы Кукуя

До далекого Петербурга дошла весть, которая заставила встрепнуться Александра Даниловича Меншикова: в Суздале заточенная царица сбросила с себя одежды инокини, оделась в прежние царские одеяния, и весь край с восторгом чувствует ее как русскую царицу.

«Эх, — загорелся Александр Данилович, — нельзя выпускать такую птичку! Кто знает, что там быть может? Сын-то ее уже подрос... Женится, свои чады у него пойдут, и тогда нам всем, новым людям, конец придет. Алексей-то никого не оставит!»

И думы, одна другой мрачнее, ползли в мозгу фаворита. Он чувствовал, что шатко его положение, что каждая ничтожная случайность может свалить в бездну — тут уж никто не заступится. Но думать — мало, нужно было действовать.

Обдумав все, Меншиков призвал к себе Кочета, и долго-долго они вели между собою та-

инственный разговор. Александр Данилович уверовал в этого человека еще после того, как тот помог ему под Шлиссельбургом избавиться от опасного соперника Кенигсека; судьба этих двух людей оказывалась тесно связанной в одно целое. За одной услугой последовали и другие. Кочет исполнял все с усердием, ни от чего не отказываясь, и Меншиков из всех своих холопов верил ему более, чем кому-либо другому.

После таинственного разговора Кочет живо собрался и уехал из Петербурга. Он держал путь в Москву, ехал скромненько, хотя на почтовых ямах предъявлял подорожные, из которых явствовало, что едет он по казенной надобности. Прибыв в Москву, Кочет ни к кому не заявился, а остановился на таком почтовом дворе, где мало знали его. Отдохнув, принялся выполнять данное ему поручение. Он бывал в кружалах, угощался и сам угощал, и не упускал случая поговорить на темы, больше всего интересовавшие его. А темой этих разговоров было житье-бытье Анки Монсовой, да вскользь еще Кочет ухитрялся прихватывать инокиню Елену, о которой в

Москве тоже немало было слухов.

— Живет Монсова на Немецкой слободе, — рассказывали Кочету. — Что ей делается. Пока при государе была, столько наворовала, что до смерти не прожить.

— Неужто так много? — удивлялся меншиковский холоп.

— Немало, — отвечали ему. — Грабила она, грабила, а на прожитье не свое тратила. А потом, как замуж вышла-то, и от мужа досталась ей толика немалая.

— Что же она теперь-то делает?

— Что делает? Живет в свое удовольствие. Вон замуж собирается выходить.

— Да ну? — уже искренне изумлялся Кочет, дотоле ничего не слыхавший об этом. — За кого?

— Да есть тут пленный швед из-под Полтавы, так вот за него. Только он — парень обстоятельный, своего не упустит. Анка Монсова с нас, крещеных, шкуры драла, а теперь полтавский швед у нее животишки отбирает. И что только творится у нее на дворе! Все рвут: Балкша, Матрена, сестра ее, полоняник полтавский, братан младший, а она всех добрей к

шведу. Да что тут! Баба на возрасте, в соку, ну и понравится сатана пуще ясного сокола.

Кочет не пропустил мимо ушей этих разговоров. Он постарался навести все справки, и сплетни подтвердились. Анной Монс были забыты и московский царь, и бедняга Кейзерлинг. Сердце печальной вдовы снова было занято шведским капитаном фон Миллером, который безвыездно проживал в Немецкой слободе. Она и на самом деле решила выйти за него замуж, и это, пожалуй, было для нее выгоднее всего. Миллер, человек практичный, не брезговал ничем: брал за свою любовь с невесты и камзолами, и кувшинцами, и блюдами, и другими разными вещами.

Если бы около Анны Ивановны не было ее сестры Модесты-Матрены, так швед растащил бы все. В доме графини Кейзерлинг, бывшей Анны Монс, был ад. Жених тащил все, что можно было утащить, сестра и брат Виллим всеми силами восставали против этого. Когда-то разбитная Матрена Ивановна Балк поблекла, располнела и подурнела; из прежнего у нее сохранилась только ее ничем не насытимая алчность.

Виллим Иванович, молодой и очень красивый человек, благодаря ходатайству одного из царских любимцев Боура, был принят на царскую службу в русские войска и мечтал попасть ко двору, сделать там себе карьеру. Нельзя сказать, что он был жаден; нет, это была взбалмошная, поэтическая натура, способная на всякие увлечения, достаточно легкомысленная. Виллим Монс то и дело схватывался с возлюбленным сестры Миллером, который казался ему смешным, он дразнил его, доводя до белого каления, что было очень забавно.

Так день за днем проходило время в доме графини Кейзерлинг.

Кочет, узнав обо всем этом, послал Меншикову подробное письмо и довольно скоро получил ответ. Так случилось, что через несколько дней после этого Анна Ивановна Монс, графиня Кейзерлинг, умерла, не оставив после себя никаких прямых наследников. Тут же, около неостывшего трупа, произошла отвратительная сцена: ее брат Виллим чуть не разодрался из-за какой-то ветоши с ее женихом. Его тетка Матрена Ивановна Балк

влезла в драку, лишь вмешательство присланных для охраны имущества приставов развело ссорившихся. Так сошла со сцены женщина, сыгравшая немалую роль в истории России.

Казалось, что судьба развела семейство Монс с Петром навсегда, но рок-мститель избрал Виллима Монса исполнителем своих грозных предначертаний, и на его долю, в недалеком будущем блестящего камергера петровского двора, выпало еще немало страшного.

Отверженная жена

Как только Кочет убедился, что все кончено в Немецкой слободе и что не встанет со смертного ложа та, которую так любил в дни молодости царь Петр и постоянно боялся Меншиков, сейчас же, никем не ведомый, скрылся из Москвы. Он держал путь к древнему Суздалю.

Еще только въезжая в пределы этого края, он уже понял, что здесь судьба созидает центр крупнейших событий.

Как молодое, только что заваренное пиво, бродил весь край. Каждый громко говорил о «благоверной государыне, царице Евдокии Федоровне», говорил с радостью, с величайшим упованием на будущее; говорил о наследнике престола так, как будто это уже был царствующий государь.

— Хоть бы скорее желанненький наш вертался из зарубежных земель, — слышал Кочет откровенные разговоры, — да за великое государево дело принимался! А то жить нельзя

стало от всех этих новшеств.

Те, кто видел Кочета — а появился он во многих местах в одежде простого человека, — радовались ему: он был новым лицом да наезжим с невского болота; одни спешили разузнать у него новости, другие сами были рады рассказать ему все происходящее.

— Уж так-то тяжела жизнь, — толковали ему в суздальских кружалах, куда он не преминул заявиться, — так-то тяжела стала, будто и в самом деле последние времена наступают!.. То и дело народ для войны набирают, а какая от того польза государству — никому неведомо.

— Какая там польза! Ходит нынешний царь по зарубежным государствам да чужие дела устраивает, а о своем народе у него и думы нет.

— Что у него и за дума о своем народе, ежели весь он иноземцем сделался?!

Кочет пробовал было возразить, что не так страшны иноземцы, как думают о них в этой глуши, но никто и слушать его не хотел: весь край жил еще под впечатлением прежних ужасов и казней, о царе Петре говорили, как

об антихристе, и не было про него ни одного хорошего слова.

— Вот только бы скорей царевич вернулся, уж тогда-то мы поживем!

— Да что же он сделает-то? — допытывался Кочет.

— Как «что»? Святую попранную веру установит, иноземцев прогонит, царицу-мать во дворце посадит, и пойдет все, как при Тишайшем.

А инокиня Елена, она же заточенная царица Евдокия Федоровна, которой в это время шел уже четвертый десяток, взбунтовалась, решив взять наконец от жизни свое, что было отнято у нее долгими годами монастырского заточения. Жить, любить хотела она. И прочь полетели монастырские одеяния, забыт был клубук. Заточенная царица блистала в роскошных царских одеждах. Все в монастыре склонялись пред нею: игуменья, сестры, священники, что доселе видели в ней неповинную мученицу, страданицу, а тут увидали возвращавшуюся на свой престол государыню. Тысячами народ собирался в монастырь на

поклон царице. Суздальские власти были за нее. Местный архиерей Досифей отдал приказ, чтоб на ектениях Евдокия Федоровна поминалась наравне со своим супругом, чтобы в храмах Божиих никогда не раздавалось имя «богопротивной немчинки Катерины». И все это сотворило то, что подрос и возмужал сын заточенной царицы, наследник престола царевич Алексей.

Мать не видала его с тех пор, как силой разлучили их, то есть с того времени, когда бедняжке-царевичу шел девятый год, но тем сильнее были чувства царицы Евдокии к сыну. И сюда, в эту глушь, приходили радостные для материнского сердца вести: царевич любит свою родимую, да так любит, что души в ней не чает. Не удалось злым разлучникам задушить в нем любовь к матери. Как они ни спаивали его с детства, к каким художествам ни приучали, а все-таки он остался любящим сыном. Изредка от него приходили в монастырь потайные грамотки. Читая их, заточенная царица чувствовала великую любовь к себе своего детища. Она, плача, делилась своими мыслями и надеждами с любимыми сест-

рами, показывала им сыновние грамотки, а те разносили эти вести по добрым людям, и в народе разрасталась и крепла молва: идет к престолу молодой царь, идет им на радость...

А тут еще другие дела случились...

XXXI

Майор Глебов

В суздальский край прибыл из Петербурга для закупки лошадей в царскую кавалерию майор Степан Глебов, лихой служака, забубенная головушка. В Полтавском бою он так рубился со шведами, что даже царю стало известно о его подвигах. Как и все воины, он был человек прямой, бескорыстный и увлекающийся. Сама судьба нанесла его на Суздаль, где томилась в заточении царица Евдокия. Он слышал жалостные толки о ее житье-бытье и сам быстро проникся жалостью к этой несчастной, захотел увидеть ее. Нетрудно было это: стоило только пойти в монастырь к церковной службе, где царица всегда бывала на богослужении, благодаря чему монастырский храм был постоянно переполнен богомольцами.

«Эх, была не была, пойду! — как-то после попойки мелькнула мысль у лихого служаки. — Хоть глазком поглядеть, какая настоящая царица бывает. А то наши питерские все

не то!».

Как ни был храбр Глебов на поле битвы, а здесь он поколебался. Дело-то, знать, темное, раз законная жена государя в келье сидит, хоть памятовал слова Писания: «Что Бог соединил, того человекам не разъединить».

Полный такими мыслями, он отправился в монастырский храм на богослужение. Странно затрепетало его сердце, когда он вошел под старинные монастырские своды. Он увидел такое множество народа, который стоял и на паперти, и на церковном дворе. Глебову удалось пробраться в первые ряды; он взглянул на клирос, и его сердце дрогнуло. Среднего роста, не первой молодости, но все еще красивая женщина стояла с гордо поднятой головой и смотрела поверх людей с каким-то, как показалось Глебову, особенным величием. Монашеское одеяние и клубук оттеняли глубину ее глаз, белизну лица.

— Царица! — прошептал потрясенный Глебов.

Он стоял окаменелый, словно вдруг его зачаровала невидимая сила, не спуская взора с царицы; мысли вихрем проносились в его го-

лове, но что это были за мысли, он понять не мог — какие-то обрывки. Глебов сравнивал эту женщину и с Анной Монс, которую не раз видал в Немецкой слободе, и с новой царицей Екатериной Алексеевной, и обе они казались ему жалкими, бледными, ничтожными в сравнении с величественной русской красотою царицы Евдокии. Глебов смотрел и не мог оторвать от нее свой взор.

Вдруг словно что-то кольнуло его, и он вздрогнул. Должно быть, его пристальный взгляд подействовал на Евдокию Федоровну, заставил ее повернуться в сторону майора. Ее карие с поволокой очи скользнули по Глебову, и она сейчас же отвернулась: такие пристальные взоры были привычны ей. Но зато Глебов не привык, чтобы на него так вот, в упор глядели царицы; он почувствовал, что в его груди не хватает воздуха, голова кружится, что если он останется у клироса и еще раз взглянет на него царица Евдокия, то он, отчаянный рубака, десятки раз выдавший пред собою смерть, потеряет сознание и тут же без чувств упадет вблизи нее.

Грубо расталкивая богомольцев, как безум-

ный, кинулся он к выходу.

Шум, происшедший при этом, снова привлек внимание царицы. Она обернулась и шепотом спросила у ближайшей инокини:

— Кто это?

Ей сказали. «Красивый какой», — подумала Евдокия и тут же сердито нахмурилась. Молилась, клала поклоны, а свечи плыли перед глазами, и стояли перед ней безумные страстные его глаза. «Увидеть бы, — мелькнуло в голове, — расспросить, что там на белом свете делается...».

А Глебов, выскочив из храма, выбежал за монастырские ворота, где его ждал вестовой с лошастью. Не помня себя, майор вскочил в седло и умчался в город на постоялый двор, где он остановился.

Там он устроил попойку, созвав всех, с кем только познакомился. Сам Глебов пил, но не хмелел. Мысли, как пчелы роившиеся в его мозгу, начали в конце концов принимать все более и более стройный образ.

«А что если счастья попытать? — подумал он отчаянно. — Что если вырвать благочести-

вейшую царицу отсель и в народ ее повести? Ведь любят ее все, за царицу считают, тысячи за ней пойдут, если она клич кликнет, головы не пожалеют. Да и можно ли жалеть себя за такую красоту? За одну улыбку, за взор милостивый, за слово ласковое я первый всю кровь отдал бы!».

Глебову подумалось, что через царицу-зачиницу он может и свое великое счастье составить. Только бы не упустить случая, благо он сам в руки дается!

«Сынок-то ее благочестивейший, — размышлял он, — не сегодня завтра царем будет, так нешто не отблагодарит он того, кто его мать облагодетельствовал? Вот царь Петр то и дело болеет, всякие недуги одолевают его, и не два века ему жить осталось; а преставится он — по-иному все будет. В силе и могуществе будет царица законная. Эх, Степа! Счастье — что птица. Лови его за хвост, если оно само тебе в руки дается!»

XXXII

Несчастный царевич

Так всю ночь до рассвета продумал майор, но не мог прийти ни к какому решению. Страшно было: как-никак, а, заступаясь за царицу-заточницу, приходилось против грозного царя идти, а у того на супротивников справа короткая. Хоть скончался от старости князь Ромодановский, в крови купавшийся, да не осиротел без него Преображенский приказ в Москве: новоявленный граф Галушкин место князя-кесаря там занял, а в Питере в застенках Андрей Иванович Ушаков объявился, пред ним не только Ромодановский, но, пожалуй, сам Малюта Скуратов малый ребенок. И бедняга-майор колебался. Да видно, не миновать человеку того, что на роду написано...

Был уже белый день, в монастыре к ранней обедне отблаговестили. Вдруг на постоялый двор прибежала беличка-монастырка.

— Тут у вас, что ли, наезжий из Питера воин пристал? — спросила она у хозяина.

— Тут, тут. А тебе, сестричка, надобен он?

— Слово к нему имею, с тем и послана.

— От кого?

— Да уж там от кого бы то ни было, — уклонилась монастырка от прямого ответа. — Ты, почтенный, чем расспрашивать, вызвал бы его лучше да сам ушел на малое время, потому что говорить я с ним должна потайно.

Глебов слышал этот разговор и поспешил сам выбежать. Увидел он — плутовски глядит на него монастырка, бесы в молодых глазах так и скачут. Смугился, а беличка, заметив это, сама первая с ним заговорила.

Словно ответом на ночные думы были ее слова.

— Пожаловал бы ты, милостивец, — сказала беличка, — после обеден в монастырек наш. Хочет тебя там видеть некая персона. Видишь ты, заметила она тебя вчера в церкви и смекнула, что ты здесь, в Суздале, наезжий. Ну, известно дело, хочется ей знать, как вы там с царем живете, здоров ли царевич молодой. Так подумала она, персона-то, что ты ей обо всем этом рассказать можешь, и пожелала побеседовать с тобою. Не погордись нашим

житьем-бытьем монастырским, пожалуй к нам, только как будто ненароком, будто ты святым мощам поклониться желаешь, а о том, что я призвала тебя, и во сне не обмолвивайся.

Как в забытьи слушал майор Глебов эти речи. Понял он, про какую персону говорит беличка, но сообразить не мог, что с ним такое: явь ли, или пьяный сон после попойки видит.

Однако пошел — в этот день пошел, на следующий, и скоро стал в скромной обители постоянным гостем.

Монастырские стены ненарушимо хранят все тайны. Что было там, в душевной келье, разве одно Всевидящее Око видело да ночи темные, когда заглядывали в окна; люди же пока молчали; но только в то самое время и сбросила с себя иноческие одежды заточенная царица и стала жить, как Бог велел жить людям, памятуя, что жизнь коротка, а на ее долю и так пришлось много испытаний.

Около этой поры и появился в Суздале Кочет. Он не был никому известен, действовал пронырливо и осторожно, и для него не было

сокровенных тайн. Без особенного труда распознал он всю подноготную, а раз ему было все известно, так и князь Александр Меншиков оказался осведомленным о всем, что творилось в Суздале.

Почва для интриг создавалась превосходная. Между царем и его уже женатым сыном начались большие нелады. Хоть царевич Алексей ни в чем особенно не противился отцу, но возмущал его своею отрешенностью. К тому времени царь остался почти один: Ромодановский умер, Шереметьев состарился, ни на какие государевы дела более не годился, старик Репнин оказался в опале, а на новых, выведенных им из ничтожества людей Петр не особенно полагался. Даже к Александру Даниловичу Меншикову он относился все холоднее и холоднее. Из родовитых бояр оставались Долгорукие и Голицыны, но Долгорукие были Рюриковичи, Голицыны — Гедиминовичи, а Петр был всего только внуком первого царя из Романовых, рода не особенно древнего. Династия не так прочна была на престоле, и Петр хотел, чтобы его единственный сын был таким же, как он. Он старался приучать

своего наследника к делам государевым, но из этого ничего не выходило.

Царевич Алексей Петрович почти насильно был женат на принцессе Софии Шарлотте Брауншвейгской. Да и она без любви вышла замуж за него. А тут еще как на грех вместе с нею приехала в Россию ее любимая подруга принцесса Юлиана Луиза Ост-Фридландская, сварливая старая дева, проводившая с молодой царевной почти все время и постоянно восстанавливавшая ее против нелюбимого мужа. В семье несчастного царевича были нелады, ссоры, и, чем дальше, тем неприязненнее относился он к своей молодой супруге.

— Женой мне чертовку навязали, — жаловался камердинеру, особенно когда возвращался хмельным с какой-нибудь попойки. — Как ни приду к ней, все сердится и не хочет со мной говорить. Эх, когда будет мне время без батюшки! Шепну я архиереям, архиереи — священникам, а те — прихожанам, и тогда-то мое время настанет! Все поверну по-иному, не дам народа в обиду!

Все чаще и чаще говорил во хмелю такие

речи Алексей Петрович, придумал болезнь, чтобы поехать за границу в Карлсбад и там хоть немного отдохнуть от семейных передряг.

Как раз в его отсутствие супруге предстояло разрешиться от бремени. Царь Петр в это время тоже находился в отсутствии и пожелал, чтобы в такой важный момент, как рождение первого ребенка у наследника престола, около родильницы непременно были знатные особы из русских. Тут им не каприз руководил: по собственному опыту знал, что выдумывается людьми насчет рождения царских детей. Самого называли подмененным сыном немца Лефорта, и на этом приверженцы Софьи во время стрелецкого батьки Хованского раздули первый свой бунт. А тут выходило хуже: должна была родить немка, супруг отсутствовал. Сам царь и царица Екатерина Алексеевна быть при родах не могли, кругом же столько недругов, что досужие люди что угодно могли распустишь. Царь в почтительных выражениях уведомил сноху, что означает состоять при ней жену канцлера, графиню Головкину, генеральшу Брюс и

князь-игуменью Ржевскую. Не зная этих соображений свекра, София Шарлотта страшно разобиделась на него; его распоряжение приняла как оскорбление. Но Петр оставался непреклонен.

Наследница престола родила девочку, названную в честь тетки Натальей. Более всех была довольна этим царица Екатерина Алексеевна. В ласковейших выражениях приветствовала она молодую мать. Петр, тоже ласково поздравляя сноху с рождением дочери, все-таки высказал, что «так как на этот раз она манкировала родить принца, то он надеется в следующий раз быть счастливее».

Принцесса как будто пожелала угодить свекру и в следующем году действительно произвела на свет внука, названного по деду Петром. Роды были вполне благополучны, но София Шарлотта была хрупким созданием, а ее на четвертый день после родов заставили встать, принимать поздравления. Принцесса переутомила, простудилась и скоро умерла.

Алексей Петрович был неотлучно при ней, дни и ночи не отходил от страдальицы-жены и трижды падал без чувств у ее ложа. Принцес-

са умерла, благословляя мужа, говорила, что только теперь она узнала, какой он добрый человек.

Петр, пораженный этим горем, тоже был около умирающей, но Екатерины не было. Царица как раз была на сносях и безвыходно сидела в своем летнем дворце.

Вскоре после похорон несчастной принцессы у Екатерины родился сын, которому также по отцу дали имя Петр. Это был уже третий сын Петра и Екатерины. Первые двое — Александр и Павел — умерли во младенчестве. Новорожденный же казался здоровым.

Откуда ни возьмись по Петербургу, а отсюда и по всей Руси понеслись слухи, что быть царевичу Алексею пострижену: неспособен он государством править, а теперь у царя сын родился, и неспособного можно устранить от престола. Слухи скоро дошли до царевича, а тут, как бы в подтверждение, и царь-отец гневное письмо прислал. Тучи повисли над головой царевича, а тут еще его старый учитель Никифор Вяземский и Александр Кикин, которым Алексей Петрович верил более, чем

самому себе, взапуски советовали ему отказаться от престола.

— Тебе покой будет, если ты от всего отстанешь, — нашептывал Кикин. — Я ведаю, что тебе за слабостью своею не снести всех тягот государственных, а в монастыре люди живут: ведь иноческий клобук к голове не гвоздями прибит, всегда сбросить можно.

— Волен Бог да корона, — твердил Вяземский.

Царевич сдался на эти уговоры и в ответ на отцовское письмо послал Петру просьбу о позволении уйти в монастырь.

XXXIII

В своей крови

Не ожидал этого грозный царь от своего наследника, рушились все его надежды: сын и в самом деле не помощником ему оказывался. Страшная буря разразилась во дворце. Петр всегда был невоздержан в гневе, а тут кричал, метался, грозил всеми карами, небесными и земными.

Все было мигом передано царевичу, который стал бояться за свою жизнь. А тут и близкие люди еще более страха нагнали.

— Я тебя у отца с плахи снял, — хвастался князь Василий Долгорукий, — только до которого времени — не знаю.

А Петр так разгневался на сына, что с ним случился припадок, один из сильнейших в его жизни. Сдерживая себя и перемогаясь, он пошел на именинный пир к старику генерал-адмиралу Апраксину, выпил там чересчур много и после этого слег, да так слег, что министры, секаторы ночи проводили в царских покоях, ожидая кончины государя. Вто-

рого декабря 1715 года царь был особенно плох, но, видно, еще не все свои дела совершил он для России, Петр оправился.

Пока он хворал, его перепуганному сыну говорили:

— Твой отец вовсе не болен, он исповедывался и причащался нарочно, а все — при творство... А что причащается он — так у него закон на свою статью.

Поправившийся Петр письменно увещевал сына отказаться от своей мысли, но царевич Алексей настаивал. С перепуга он тоже захворал. Отец пришел к нему, был с ним ласков, спрашивал его, желает ли он уходить в монастырь, и получил в ответ:

— Слаб я, государь, отпусти меня.

Петр не решился покончить с этим делом. Уезжая за границу, он сказал сыну:

— Одумайся, не спеши, а как решишь — напиши мне!

Царь уехал. Тяжко было на душе у царевича. Страх за жизнь все более и более овладевал им, а те, кого он считал своими друзьями, уговаривали его спасти себя от отцовского гнева, нашептывали, что отец хочет извести

его, дабы очистить путь к престолу своему новорожденному сыну. И царевич Алексей не выдержал.

А тут еще пришло грозное повеление от Петра явиться к нему в Данию, и он решил бежать. В начале октября 1716 года Алексей Петрович уже был на пути к границе. Под Либавой он встретил тетку, царевну Марью Алексеевну, всегда к нему расположенную, и заявил ей:

— Еду к бабушке!

— Доброе дело, что отца помнишь! — ответила царевна. — Куда тебе от отца уйти? Везде найдут. А вот забыл ты мать, не пишешь ей ничего...

— Я писать опасаюсь...

— А что? — возразила царевна. — Хотя бы тебе и пострадать, так и то ничего было бы: ведь за мать, не за кого иного.

Алексей Петрович заплакал.

— Жива ли матушка, или нет? — спросил он.

— Жива, — сказала Марья Алексеевна. — И ей самой, и иным было откровение, что отец твой возьмет ее к себе и дети будут. Говорят

святые люди: отец твой будет болен и поедет он в Троицкий монастырь на сергиеву память, и отец исцелится от болезни и возьмет царицу к себе, и великое в народе смятение утишится. Петербург же не устоит, быть ему пусту! Многие о сем говорят.

— А как же царица нынешняя? — спросил царевич.

— У нас, — сказала царевна, — осуждают твоего отца. Что он мясо ест в посты — это еще ничего; но пуще, что он твою мать покинул.

Алексей Петрович начал было хвалить свою мачеху Екатерину.

— Чего ты хвалишь-то? — укорила его царевна. — Ведь она — не родная тебе мать. Где ей тебе добра желать? У нее свой сын есть.

Тяжело подействовали эти разговоры на перепуганного царевича. К концу года он был уже в Вене, у императора австрийского, в надежде, что тот по-родственному окажет ему помощь. Но ошибочны были надежды. В Вене боялись царя Петра, и царевич Алексей должен был перебраться в Неаполь. Здесь его заставили дать согласие вернуться в Россию, и

31 января 1718 года он уже был в Москве.

Страшные дни настали для выдавшей всякие виды столицы. Преображенский приказ работал так, как не работал он с соковнинского заговора. В руках у Петра оказался донос и на его первую жену, и по этому делу произведен был кровавый розыск. Царица Евдокия собственноручно записала свое покаяние: «Я с ним, с Глебовым, блудно жила в то время, как он был у рекрутского набора».

Под пытку в приказе был и Степан Глебов, но не обмолвился ни на кого ни единым словом. Царевича судили, и судьи признали его достойным смерти. Приговор был представлен царю. Осужденный царевич был перевезен в Петербург, и 28 июня его не стало. Все те, кто держал его сторону, погибли или в застенках, или на плахе. Но страшнее всех была участь Глебова: он в Москве посажен был на кол. Современница этих ужасов, знатная иностранка, рассказывает, что во время казни к несчастному подошел огромного роста человек, весь закутанный в плащ, и начал издеваться над ним. Глебов собрал все свои силы и дважды плюнул ему в лицо.

XXXIV

При дворе преобразователя

Петров «Парадиз» разрастался с поразительной быстротой. Новому городу уже стало тесно на затопляемых, сырых берегах правого невского берега, и он потянулся по Кононову — самому большому острову левого берега Невы.

Лучшим украшением здесь был Летний сад, остаток шведского владычества в Приневском крае. Прежний его владелец, шведский майор Конау, усердно заботился об этом уголке, который был охотничьим парком при его мызе.

Царю Петру понравилось обилие росших здесь лип, и он избрал Летний сад местом своего постоянного жительства в новом городе. Старый тесный домик на Березовом острове, у крепости, где жил сперва Петр, был им оставлен — сюда царь заходил, только когда принимал наезжих шкиперов; взамен же этого обиталища появился довольно большой просторный каменный дом на берегу Фонтан-

ной с видом на Неву. Здесь Петр жил, и здесь помещался его двор.

Никогда не было роскоши в личной жизни этого могучего человека. К последним годам жизни он, и прежде-то расчетливый, стал более чем скуповат и экономил на всем, лишь время от времени устраивая праздники, в которых то венчали шутов с шутихами, то организовывали шутовские процессии.

В последнее десятилетие своей жизни Петр порядочно огрубел и оставался верен только прежним вечерним попойкам да заведенным им ассамблеям, которые устраивались у него лишь изредка, большею же частью происходили у кого-либо из приближенных. Свою скупость Петр любил подчеркивать при каждом удобном случае.

— Я ведь — царь, — говаривал он, — государство обкрадывать мне не приходится, а потому и живу я на то, что у меня есть. Вот государские воры, так те роскошествуют.

После казни старшего сына Петр становился страшен даже для близких людей. В нем развилась подозрительность, он видел во всем злоумышление, часто даже там, где ни-

чего не было.

Тайная канцелярия — это страшное учреждение, явившееся тем же, чем был Преображенский приказ в Москве — делала свое ужасное дело. По всякому поводу — из-за неосторожного взгляда, из-за пьяных речей — хватали людей и тащили их в мрачные застенки, где три царских инквизитора — Петр Андреевич Толстой, Андрей Иванович Ушаков и Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев, страшная «кнутобойная троица», — действовали, не зная устали. Батоги, кнутобойство, дыба в застенках никогда не оставались без дела, заплечные мастера не сидели без работы; на обычном месте казней — у Троицкого собора на Березовом острове по целым месяцам стояли эшафоты.

Но так уж бывает, что люди редко видят то, что находится близко от них, и, завершая важные розыскные дела, царь не видал того, что делается в его семье.

Крепко-накрепко залегло в сердце царя воспоминание о пережитых им счастливых днях с прелестницей Кукуя Анной Монс. Годы

прошли, а память осталась.

И жил при петербургском дворе Виллим Иванович Монс, брат той Анхен, которую Петр любил на заре своей жизни. Красавец, щеголь, прекрасный музыкант, талантливый поэт, Монс являлся украшением царского двора и выгодно выделялся из среды грубых, пьяных царских денщиков. Там, где появлялся Монс, вспыхивало веселье, раздавались смех, шутки и звуки мандолины, с которой почти не расставался Виллим Иванович. Сам он жил без всякой заботы, безалаберно, легкомысленно; богачом он никогда не был, а деньги у него частенько бывали большие.

При нем неотступно находилась и его старшая сестра Матрена Ивановна Балк, которая вела его хозяйство в Петербурге.

Кроме Виллима Ивановича памятью счастливых дней юности была одна из «верхних девок», т. е. фрейлин его супруги. Незатейлив был ближний двор русской царицы. При нем не было родовитых женщин и девушек; самую родовитую среди них была «князь-игуменья» Евдокия Чернышева, разбитная пожилая бой-баба, которую иногда одаривал своим

мимолетным расположением «протодьякон всепьянейшего собора» царь Петр Алексеевич.

Наиболее видной из «девок вверху» была Мария Даниловна Гамильтон, та самая сиротка, которая своими детским ручками поднесла царю Петру букет на празднике, устроенном тогда прелестницей Кукуя. Мария стала роскошной красивой женщиной, которую Петр увидел однажды и сразу узнал.

— А я тебя помню! — сказал радостно. — Я тебя сразу узнал. Вот ты какая, Машенька!

И пропала Машенька...

«Сильное и здоровое тело Петра Алексеевича, что бы он там ни говорил о своей старости, — рассказывает историк, — любило, хотя и временные, но частые «отмены» супружеской верности. Петр вскоре заметил красавицу Гамильтон и сделал для нее отмену, вероятно усмотря в ней такие дарования, на которые не мог не воззреть с вожделением».

Постоянно в страхе

Понятно, что такое милостивое внимание привлекло к Марии Даниловне, как называли Гамильтон при царском дворе, всеобщее внимание. За ней стали ухаживать, ей стали льстить, примечая в то же время, что Екатерина Алексеевна не выказывает по отношению к своей фрейлине никаких признаков ревности. Впрочем, и до Гамильтон это бывало нередко, и такие случаи никого особенно не удивляли.

Но при Петре уже много лет был человек, который более ревниво, чем влюбленная женщина, следил за каждым увлечением царя. Это, конечно же, Александр Данилович Меншиков, как и прежде, страшившийся за свое положение. Кочет был при нем неотступно, он в эти годы стал доверенным лицом Меншикова и его правой рукой.

Как-то князь Ижорский призвал его к себе для тайной беседы. Кочет уже знал, что это означает: могучему князю снова понадоби-

лась верная служба его холопа, и в таком деле, какое никому иному поручить было нельзя.

— Что повелеть изволишь, светлейший? — спросил Кочет, явясь на зов господина.

Александр Данилович испытующе посмотрел на него, а затем воскликнул:

— Чего спрашиваешь-то? По пустякам звать тебя не стал бы.

— Ведомо это мне, ваша светлость, — льстиво ответил Кочет, — милуешь ты меня не в пример.

— Милую потому, что твою службу помню. Вот и теперь она мне сильно понадобилась...

— Приказать изволь; приказа не исполню, только ежели умру.

— Так вот что! Есть у царицы наверху девушка Марья Гамильтова, для ее величества услуг приставленная... Видал, поди, ее?

— Как же, светлейший, приходилось. Через твою честь в Летний сад доступ имею, так и видывал эту Гамильтову.

— Так вот сдается мне, что блудно она жить начала, и хочу я до истины дознаться. Плохо дело, ежели такая нечисть при высо-

чайшем дворе заведется.

Кочет нагло ухмыльнулся.

— Ты чего? — вспыхнул Александр Данилович.

— Прости, милостивец! Вспомнилось мне, что немало всякой там этакой-то нечисти. На Москве по этой части было дело худое, а в Питере куда всякого худа больше...

— Как ты смеешь? — в раздражении затопал на него ногами Александр Данилович. — Не твоего ума дело!

— Вестимо, не моего, — быстро поправился стрелец. — Рад послужить тебе, приказывай только! Видывал я эту Гамильтову! Частенько она с Монсовым по саду гуляет...

— Как? Разве она с ним путается?

— Ну, нет, — опять ухмыльнулся Кочет, — у Гамильтовой с Монсом никакой любви нет. Да что тебе, ваша светлость, говорить-то? Поди, сам ты знаешь, кто из них по какому зверю охотится.

В этих наглых словах скрывался такой намек, что даже сам Александр Данилович смутился.

— Ну-ну, что я знаю, то при мне и остается,

а ты вот разузнай-ка все подробно. Машка Гамильтова чего-то хворает, сидит в своих комнатах запершись и даже на ассамблеи не показывается; это неспроста...

— Ладно, узнаю, — согласился Кочет, — раз тебе тогда с польским графом послужил и теперь послужу, а за наградой ты не постоишь...

— Не бойся, доволен будешь! — сказал Меншиков и махнул Кочету рукой, приказывая ему этим удалиться.

Оставшись один, Александр Данилович на мгновение дал волю своим чувствам. Каким могуществом он ни пользовался, но в то же время постоянно чувствовал себя одиноким и должен был опасаться всего.

— Да, да, — тихо проговорил он, рассуждая сам с собой, — вот так жизнь! У зайца на меня больше покоя, чем у меня. Один я, один, а следи за всем! Враги везде и всюду, и все подкапываются, все стараются свалить, и чудо, что это еще не удается им. Теперь с двух сторон на меня гроза надвигается... Большую силу забрал Монсов! Умеет немчин ждать, и ежели только теперь не свалить его, так потом от него не отделаешься — так вот на шею

и сядет. Да хорошо, если только сядет! Ведь он не задумается и голову от шеи отделит... Ох, немчины-немчины! Не так уж много осталось, а только, где они заведутся, там нам, русским, плохо... Вот и Машка эта самая тоже своего добивается, и тоже от нее баламут может выйти. Только не дам я им укрепиться, потягаемся! Сперва Машку нужно убрать, а потом и с Монсом легко справиться будет... Я не я буду, если и на этот раз по-моему не выйдет. Берегитесь, вы! Вздумали на моей дороге встать, так или вам несдобровать, или мне.

Итак, над головой Марии Даниловны Гамильтон собиралась гроза. Однако она, упоенная своей близостью к царю, вовсе не замечала тех облачков, из которых скоро составила грозная туча.

XXXVI

На первых следах

Кочет за годы, проведенные в близости к светлейшему князю Меншикову, научился интриговать, да так, что, пожалуй, и самому ловкому придворному не угнаться было бы за ним. У Кочета было большое знакомство с челядью придворных, и все дворцовые сплетни были известны ему. Узнать то, что поручил ему Александр Данилович, было не особенно трудно.

Как раз в это время в Петербурге шли потешные торжества по случаю спуска новых кораблей. Народ допускали всюду, и Кочет затесался в Летний сад, пробираясь к тому дому, где жили придворные фрейлины. Он вспомнил, что одна из прислужниц Марьи Даниловны, Варвара Дмитриева, когда-то относилась к нему снисходительно, и теперь вздумал повидать ее.

Как говорится, на ловца и зверь бежит. Едва войдя в сад, Кочет столкнулся с Варваркой, опрометью бежавшей к выходу.

— Варварушка, сударушка, — преградил он дорогу девушке, — куда в такую рань собралась да еще спешишь?

Варвара на мгновение остановилась и сейчас же узнала Кочета.

— А, мощи явленные! — воскликнула она не то шутливо, не то сердито. — Пусти!.. Не до тебя мне!..

— Это как же не до меня? Что возгордилась так? Я здесь без дела брожу, хочешь, с тобой вместе пойду? Теперь на наших улицах всякого народа много. Далеко ли идешь?

— К лекарю за снадобьем.

Кочет уже шел рядом с Варварой, решив не отставать от нее, пока та не скажет ему чего-нибудь такого, что могло его навести на более ясные следы.

— За снадобьем? — стал выспрашивать он. — Не ты ли, лапушка, заболела? Этого как будто и совсем незаметно.

— Не во мне дело, — отозвалась Варвара, — сама наша хворает.

— Это кто? Уж не Марья ли Даниловна?

— Она, она! — было ответом. — Сколько времени никуда не выходит, даже вот есть ей

ношу из придворной кухни... так она разнедужилась.

Так говорила Варвара, а между тем на ее лице играла веселая улыбка.

— Чем больна-то сама? — насторожился Кочет. — Кажись, она у вас крепкая.

— Все мы до поры до времени крепки, — ответила Варвара. — Да отстань ты! Чего привязался? Уж не Богу ли вздумал за Марью молиться?

— Стой, Варварка! — раздался грубый мужской голос.

Увлечшись своим разговором, Варвара и Кочет не заметили, как они почти натолкнулись на высокого красивого молодого офицера-гвардейца, в котором Кочет сейчас же узнал одного из царских денщиков, Ивана Михайловича Орлова.

— Куда? — спросил Орлов у Варвары. — Этак только за попом да к лекарю бегают, как ты бежишь!

Варвара, увидев Орлова, заметно смутилась. Кочет, следивший за ее лицом, видел, как затряслись ее губы и побледнели щеки.

«Ого, — начал смекать он, — тут что-то да

есть. Иначе чего ради Варваре Ивана Михайловича бояться? Хорошо, что я вздумал сегодня в Летний сад забраться!»

Он, скорчив смиренную физиономию, отошел несколько в сторону, но так, что каждое слово разговора между Варварой и Орловым доносилось до его слуха.

— Не держи меня ты, батюшка Иван Михайлович, — жалобно заговорила Варвара, — разнедужилась Марья Даниловна... меня к лекарю за снадобьем послала.

Какая-то тень легла на лицо молодого денщика.

— Что-то она больно часто хворает, — подозрительно сказал он, — и подолгу как! Чего это царица только смотрит? Жалованье платит да своих ближних девок содержит, а они только и знают, что хворать. Ну, что ж поделать, держать я тебя не буду! Отбей за меня поклон Марье Даниловне, скажи, что соскучился я по ней, повидать хотелось бы.

После этого Орлов как-то странно улыбнулся и, перестав обращать внимание на Варвару, пошел ко входу в сад.

— Ну, — с облегчением вздохнула та, —

пронесло грозу!

— А что, — сейчас же очутился около нее Кочет, — испугалась?

— Отстань! — махнула рукой Варвара, — И так из-за вас обоих опозднилась! — и она пустилась было вперед.

Однако Кочет схватил ее за руку и воскликнул:

— Слушай, Варвара! Кто о ком, а я по тебе соскучился. Как бы нам с тобой о разных делах поговорить?

— О каких еще там?

— Мало ли там о каких? Найдется! Как справишь ты свое дело, приходи-ка ты к почтовому двору; там гулянье будет, я сластей тебе куплю. Придешь?

— Кто знает? Может, и приду.

— Зачем кому знать? Ты сама скажи!.. Не пожалеешь, если придешь. Есть у меня тут для тебя новость одна.

— Ладно, ладно, — согласилась Варвара, — приду. Сейчас только не держи.

— Да уж иди, Бог с тобой! Вижу, что торопишься.

Они разошлись. Кочет долго еще смотрел

вслед своей собеседнице и покачивал головой. Для него было ясно, что Варвара Дмитриевна знает о своей госпоже какую-то тайну, которая имеет какое-то отношение к поручению, возложенному на него его господином.

— Эким ведь словом стрекоза обмолвилась, — сказал он сам себе, — «все мы до поры до времени крепки!»! «Мы» — то ведь про баб сказано, а уж кому-кому не известно, какой болезнью чаще всего бабы да девки болеют... Нет ли и тут чего-нибудь такого? Ведь про Марью-то Даниловну уже давно слух идет, что она двух ребят, не доносив, сбросила. Кто там знает? Может, и третий завелся. Ишь ведь царский денщик зверем смотрел, как о здоровье спрашивал.

Сам того не зная, Кочет был очень близок к истине.

XXXVII

Муки ревнивца

Недолго продолжалось царское увлечение красивой фрейлиной. Много таких увлечений было у царя Петра. Кроме Анны Монс, похаживал государь к Матрене Балк, Авдотье Чернышевой, Анне Крамер, княгине Кантемир. Но все эти связи не имели серьезного значения: удовлетворенная страсть не обращалась в привычку, и только одна любовь к Екатерине Алексеевне, всеми средствами поддерживаемая Меншиковым, стала таковою.

Когда Марья Даниловна Гамильтон заметила, что царь Петр стал охладевать к ней, она с чисто женским лукавством вздумала снова разжечь чувство в царе, возбудив в его сердце ревность, и обратила внимание на денщика Петра Ивана Михайловича Орлова.

Это была игра с огнем, но Марья Даниловна и чувствовала, и знала, что ее молодость быстро уходит, красота исчезает, а стало быть, нужно во что бы то ни стало пользоваться последним временем и, рискуя голо-

вой, создать себе более прочное положение.

Иван Михайлович Орлов был одним из самых молодых денщиков царя Петра. Он был взят ко двору из дворянских недорослей, очень недолго побыл за границей и еще не совсем освободился от своей деревенской наивности. Поэтому такой опытной придворной красавице, как Марья Даниловна, совсем нетрудно было вскружить ему голову. Однако она не рассчитала только того, что такие молодые люди, как Орлов, как бы ни были охвачены страстью, поддаются только мимолетному впечатлению и прочного чувства у них нет и в помине.

Когда Орлов услышал, что его возлюбленная больна, то целый рой подозрений охватил его. Он знал, что такое эти придворные болезни и прежде всего заподозрил измену.

«Ой, — думал он, — неладно что-то! Из чего-то Марья вывертывается, и я не я буду, если не дознаюсь всего».

Бешенство всецело охватило его, и он стал раздумывать, как бы ему немедленно увидаться с Гамильтон.

Если человек чего-нибудь серьезно жела-

ет, то он скоро находит возможность исполнить желаемое. Орлов вспомнил, что у него в кармане лежит крошечная записка — приглашение на ассамблею, и решил воспользоваться ею, чтобы проникнуть в покои любимой женщины.

Его свободно допустили на ту половину, которую занимали фрейлины государыни, и только здесь он встретил первое препятствие: приняла его не Марья Даниловна, а Анна Крамер — ее казначейша.

Крамер была хитрая женщина; внимание государя, хотя и совершенно случайное и мимолетное, заставило ее возомнить о себе очень много, и она занялась придворными интригами гораздо более, чем ее госпожа.

Увидев Орлова, она сперва вскрикнула как бы от испуга, потом сделала вид, что оправилась от своего смущения.

— Мне бы Марью Даниловну повидать, — довольно неуверенно сказал Иван Михайлович, — хотя бы всего только на одну малую минуту!

— Вот редкий гость! — воскликнула рижанка, не обращая внимания на просьбу го-

стя. — Вас совсем не видно у нас.

— Да я все царевыми делами занят, — буркнул Орлов. — Так как же, Аннушка, допустишь ты меня до Марьи Даниловны?

— Ой-ой, не смею. Совсем больна голубушка моя, такая ее немочь одолела, что никого она видеть не может. Лежит в постели слабешенькой, хоть за попом посылай.

— Уж будто и за попом? — усмехнулся Иван Михайлович, — что-то не слышно, чтобы она так-то больна была.

Вдруг он насторожился. До его чуткого уха донесся звук, который он менее всего мог услышать здесь: ему показалось, что он слышит слабый плач младенца. Лицо молодого человека побледнело.

— Что же это такое? — растерянно пролепетал он.

— А что? — воскликнула Крамер, бледнея сама.

— Младенец пищит.

Анна Крамер принужденно рассмеялась.

— Полно тебе, господин денщик! — воскликнула она, но ее голос заметно дрожал. — Младенец? Откуда ему тут взяться? Кошка

там окотилась, так, может, ты прослышал, как котята пищат... А то младенец!.. Не след бы тебе такой поклеп на всех нас взводить. Вот возьму да расскажу фрейлинам, так они на тебя великому государю нажалуются; будешь тогда слышать то, чего нет!

Теперь настал черед испугаться и Орлову: если такая жалоба будет на него, то царь не замедлит приказать произвести расследование в Тайной канцелярии, и тогда ему не миновать беспощадного розыска.

— Не знаю, Аннушка, — пробормотал он, — может быть, и показалось мне... Кто там ведает? Своих детей-то у меня еще не было, так немудрено, если и ослышался.

— Вот то-то и дело! — уже раздраженно напустилась на него Анна Крамер. — Все-то вы так: чуть что — сейчас поклеп вам возвести ничего не стоит, а потом и в кусты — дескать, знать ничего не знаю и ведать не ведаю. Эй, вы, мужская братия! Уходите, господин денщик, от греха скорей; кажись, ты не шумный, и понятия не потерял.

Смущенному Орлову не оставалось ничего более делать, как уйти, далее и не увидавши

своей возлюбленной.

«Эх, — думал он, выходя из домика фрейлины Гамильтон, — совсем не чистое тут дело. Ишь ты, как Анна засуматошилась! Но пусть пройдет малое время — и я все досконально разузнаю; а теперь у меня другое царевое дело есть».

Он нащупал у себя в кармане сложенный вчетверо лист бумаги, крупно исписанный затейливым тогдашним почерком.

Государевы денщики того времени поступали ко двору из дворян большею частью не знатного происхождения. На их обязанности между прочим лежало не только дежурство при царе, но и разведка по царскому поручению о различных поступках должностных лиц; кроме того им нередко приходилось исполнять даже обязанности палачей, в особенности в тех случаях, когда казнь не была публичною.

Иван Михайлович как раз в описываемое время исполнял одно из таких царских поручений, и в его руках был следственный донос о тайном сходбище, что по тому времени считалось весьма тяжким преступлением. Он

должен был передать этот донос самому царю, но случилось так, что государя он в этот день не видел и следственное дело осталось у него в кармане.

XXXVIII

Страшное дело

А в спальне царицыной камер-фрейлины Марии Даниловны Гамильтон разыгрывалась в это время страшная сцена. Слух не обманул Ивана Михайловича: он действительно слышал крик младенца. Этот ребенок был рожден в эти мгновенья камер-фрейлиной Марьей Даниловной, стойко, без стонов перенесшей родовые муки и с ужасом услышавшей первый крик новорожденного. Она услышала также доносившийся из передних комнат густой бас Ивана Михайловича Орлова, и в ее душе вдруг вспыхнул такой ужас, что вряд ли она и сама понимала, что делала. Это был животный ужас, не допускающий никаких рассуждений, охватывающий все существо человека, заставляющий его поступать как в бреду, не думая о последствиях, как бы ужасны они ни были.

Когда не на шутку встревоженная Анна Крамер, кое-как выпроводив Орлова, вбежала в спальню Гамильтон, то в ужасе увидела, что

мать держит в руках младенца, зажимая ему рукою нос и рот. Около Марьи Даниловны была уже ее третья прислужница, Екатерина Семенова.

— Марья Даниловна! — в ужасе воскликнула Анна. — Что ты делаешь?!

Она кинулась к фрейлине, стараясь поймав ее руки. Но было уже поздно: новорожденный был без дыхания.

— Марья Даниловна, Марья Даниловна! — лепетали в страшном испуге обе служанки Гамильтон.

— Молчите, — хрипло вырвалось из уст несчастной матери. — Так нужно было; что сделано, того не воротишь. — Она положила мертвого младенца на кресло. Ее лицо было бледно и покрыто потом, волосы растрепались, взор дико блуждал. — Возьми, Катерина, — сказала она Семеновой, — отнеси куда-нибудь и брось!

— Марья Даниловна, да разве осмелюсь я? — залепетала та. — Ведь что мне за это может быть!..

— А! а! — хрипло вырвалось из груди несчастной женщины, — я вас, как нищих,

всем взыскала, а вы мне в такой час послужить не можете?..

Тут силы оставили ее. Пережитое было так ужасно и физически, и духовно, что несчастная без чувств упала на кровать.

— Ахти, горе какое! — запричитала Семенова. — Что же делать-то нам теперь?

Анна Крамер более владела собой и более отдавала себе отчет в последствиях.

— Вот что, Катерина, — торжественно сказала она, — Марья Даниловна всегда была добра к нам, так неужто мы ее теперь бросим и из страшной беды не вызволим?

— Да что же делать-то, что делать-то? — спрашивала обезумевшая от страха женщина.

— Прежде всего нужно убрать младенца, — покосилась Анна на маленький трупик.

— А застенок-то?

— Брось о нем думать! Если дознаются, то все равно виски и кнута нам не миновать. Ведь знали мы, что Марья Даниловна в положении, знали и не донесли куда нужно, так вот и рассуди сама, что нам за это быть должно. А тут, быть может, и пронесет грозу.

Катерина молчала. Она соображала, что Анна, может быть, и права.

А Крамер продолжала:

— Возьми-ка ты кулечек, в коем с кухни сухую провизию носим, да положи в него мертвенького и вынеси его в свое жилье (Семенова, как замужняя, жила отдельно), а от туда уже сама знаешь, куда бросить: и Фонтанная, и Нева не за горами.

— А Варвара-то? — вспомнила Катерина.

— А что она? Разве она здесь была, разве видела она что-либо? Нет, нет! Ну, так ей ничего и неведомо. Делай, как я говорю, а я около Марьи Даниловны похожу; нельзя же ее без помощи оставить... Несчастливая страдальца! — тихо прошептала она, подойдя к Гамильтон, все еще находившейся без сознания, и чуть слышно прикоснулась губами ко лбу Марьи Даниловны.

Та слегка застонала. Анна отпрянула от нее, испугавшись, что этот стон будет услышан за стенами, оглянулась. Семеновой уже в покое не было, не было и трупика несчастного младенца.

— Аннушка, Аннушка, — услышала Крамер

болезненный шепот Марьи Даниловны. — Поди ко мне! Не бросайте вы меня!.. Ох, тяжело мне, тяжело... Ведь своими руками, своими!.. Что мне будет на том свете?

Анна Крамер была лютеранка и к «тому свету» относилась сравнительно равнодушно.

— Что там-то будет — этого мы не знаем, — тихо проговорила она, — теперь нам об этом свете заботиться нужно. Ни я, ни Катерина не выдадим тебя, а Варвара ничего не знает.

— Спасибо, спасибо вам! — тихо пролепетала больная. — Ничего бы не было, если бы Ваня не пришел... с испуга я себя не помнила.

— Так что же, Марья Даниловна, — совсем к ее уху склонилась Анна Крамер, — да разве денщик Орлов выдал бы тебя? Ведь это его дитя-то было...

— Нет, нет, не Ваня — отец, — раздался тихий лепет, и Анна скорее угадала, чем услышала то имя, которое произнесла Марья Даниловна Гамильтон.

Анна смотрела на нее, и слезы струились по ее щекам. Марья Даниловна всех-то несчастнее!

На другой день с утра на «царицыном вер-ху», т. е. в помещении фрейлин, а отсюда с быстротою молнии и по всей придворной че-ляди пронеслась весть о том, что в Летнем са-ду у фонтана нашли мертвого подкидыша.

Такие случаи были нередки. Несчастные матери бросали прижитых вне брака детей в таком количестве, что заботы о них должно было принять на себя духовенство. Еще пат-риарх Иов — может быть, по настояниям ца-ревны-правительницы Софьи устроил нечто подобное воспитательным домам.

Царь Петр относился довольно снисходи-тельно к такого рода преступлениям, но в конце концов был вынужден принять против них меры: ведь более всего страдали не ви-новные родители, а ни в чем не повинные де-ти. Для этих «зазорных людей» царь Петр, по-сле смерти своей любимой сестры Наталии, основал большой госпиталь, в котором стару-хи должны были принимать младенцев, даже не спрашивая имени матери...

Стремление к «непотребному житию» и «зазорному деторождению» не было подавле-но суровым законом; но грешные матери,

зная, что ждет их детей в жизни, предпочитали не оставлять их живыми и убивали тотчас же после появления на свет. Таким образом, преступление Марии Гамильтон вовсе не было исключительным, хотя и существовал закон, по которому виновные в детоубийстве подлежали смертной казни.

Вероятно, находка трупа в царском Летнем саду так и прошла бы незамеченной, но, видимо, судьба заранее преопределила несчастной Гамильтон ее участь.

XXXIX

Ассамблея

На другой день, пред сумерками, к почтовому двору у Невской пристани стали съезжаться и сходиться разного звания особы «без чинов» на царскую ассамблею.

Царь охотно устраивал такие праздники — собственно говоря, даже не праздники, а просто вечеринки, обыкновенно заканчивавшиеся гомерическими попойками. Личной жизни у Петра было немного, и на таких ассамблеях он несколько позабывал и придворных дураков, и доносчиков, и палачей.

Почтовый двор был его излюбленным местом, помещение здесь было довольно просторное. Собственно говоря, это вовсе не была почтовая станция, а маленький царский дворец, хотя бы уже потому, что государь любил бывать и отдыхать здесь. Почтовый двор был поставлен приблизительно на месте нынешнего Мраморного дворца; около него были обширные бассейны. В одну сторону от него раскидывалась начинавшая застраиваться Луго-

вая, ныне Милльонная, улица, доходившая до дома Апраксина, на месте которого ныне находится Зимний дворец, а с другой стороны раскидывался Царицын луг и за ним царский Летний сад.

Из окон почтового двора открывался чудный вид на острова правого берега; влево был виден Лосиный остров с Васильевой батареей, на стрелке прямо лежал Березовый остров (ныне Петербургская Сторона) с нынешней игрушечной, но в то время могущественной крепостью; вправо видны были еще не застроенные берега Невки, с кавалерийским лагерем на том месте, где ныне находится военно-клинический госпиталь. Все это было покрыто густой зеленью; из-за нее почти не было видно небольших одноэтажных домиков, но зато на ее фоне рельефно выделялись золоченые главы Троицкого собора.

Царь Петр, выбрав минуту отдыха, любил сидеть в прохладных комнатах почтового двора, покуривая крепкий кнастер, и любоваться открывавшимся из окон видом. Отсюда он видел большую пристань, от которой была переправа на противоположный берег,

здесь же собрались и все приезжие, даже и не подозревавшие, что сам царь смотрит на них из окон. В этом-то доме, а не в Летнем дворце, и была устроена царская ассамблея.

Государь, занятый какими-то неотложными делами (он в ту пору только что вернулся из Либавы), запоздал и прибыл одним из последних. Как всегда было принято, собравшиеся приветствовали его так же, как приветствовали бы самого заурядного гостя.

Остановившись на мгновение у порога, царь окинул орлиным взором открывавшуюся перед ним картину веселья и, видимо, остался доволен. Все вокруг него было именно так, как он желал. В невысоких комнатах носились облака едкого табачного дыма и чувствовался запах хмеля; несколько музыкантов играли на рогах что-то веселое, несколько пар придворных щеголей и щеголих неуклюже кружились в модном танце. Издали доносились возбужденные голоса: во внутренних комнатах собрались игроки в кости, в шахматы.

Довольный царь быстро прошел через приемный зал; но когда он вступил в следующую

щую комнату, то легкая тень на мгновение омрачила его лицо. Он увидел свою супругу, «сердешненького друга» Екатерину Алексеевну, игравшую в шахматы с Виллимом Монсом.

Екатерина Алексеевна сейчас же заметила супруга.

— Иди-ка ты сюда, батюшка! — воскликнула она, подзывая к себе Петра. — Помоги ты мне, а то вот обыгрывает меня злодей наш придворный, — кивнула она на Монса.

Петр скользнул взглядом по красивому ка-мергеру, потом взглянул на шахматную доску и, порывисто взяв одну из фигур, сделал ход.

— Ну вот, государь, — весело воскликнул Монс, — ты меня совсем погубить хочешь.

— А что же, жалеть я, что ли, буду вашего брата? — грубо возразил ему государь, — в деле не жалею, а в игре и подавно.

В тоне его голоса было что-то грозное.

Екатерина Алексеевна с тревогой взглянула на него, не лицо царя не предвещало близкой бури, и она успокоилась.

— Ну, ходи, что ли! — заговорил Петр. — За Катеринушку я доиграю.

— Ой, государь, — опять воскликнул Виллим Иванович, — мне ли с тобой тягаться?

— Знаю, знаю, что ты — бабий кавалер, — довольно весело засмеялся его венценосный партнер. — А правду ли говорят, — быстро переставляя фигуры, обратился он к супруге, — что у нас, в Летнем, опять младенчика убитого нашли?

— Нашли, батюшка, нашли, — отозвалась Екатерина Алексеевна. — Так блудливы стали девки, что и ума не приложу, как их от этого отвадить.

— А не дознано, чей младенец? — опять спросил Петр.

— Где ж, государь, так скоро дознаешь, — раздался около царя голос Александра Даниловича Меншикова. — Те, кто на такое дело идут, следов не оставляют.

Коварная просьба

Петр слегка нахмурился.

— Все-таки сие есть преступление закона, — сказал он, — и виновный должен понести заслуженное наказание. Ты, Данилыч, побудь тут, мне тебе надобно слово молвить; вот доиграю, так пойдем в сторону и поговорим. — Мастерским ходом он докончил партию и поднялся со скамейки, говоря супруге и Монсу — Ну, ежели хотите, играйте еще, а я вот тут с Данилычем поговорю.

Царь положил руку на плечо Меншикова и не повел, а почти потащил его в один из соседних покоев, где было совсем мало народа.

— Ты мне сказать чего не имеешь ли? — обратился он к Александру Даниловичу, тяжело опускаясь на скамейку. — Знаю я, что просто-запросто ты ко мне сунуться не осмелился бы.

— Нет, государь, что же я беспокоить тебя буду докладами здесь, когда ты веселиться пожаловал? Небось, тебе ими и твоя кнута-

бойная тройца достаточно надоела... Так вот, пустячок маленький есть у меня, до меня касающийся; да и это — не дело, а просьбишка к тебе, и не как к царю, а как к частной персоне.

— Что еще такое? — спросил Петр, раскуривая трубку.

— Да вот что: попристрасти ты малость своего денщика Ваньку Орлова, как отец, пристрасти! Пьянствует он да над чужими людьми озорует в пьяном виде.

— Уж не тебя ли, Алексашка, он поколотил? — улыбнулся царь.

— Ну, меня-то поколотить руки коротки, — смело ответил Меншиков, — даже и твои старые денщики не скоро дотянутся, а о молодых и говорить нечего. Нет, просто так, жалею парня. Обопьется он еще или в шумном виде взболтнет несурязицу какую, а теперь ведь такой народ пошел, что по всякому пустяку «слово и дело» кричит.

— Знаю я твою жалость! — отозвался Петр. — Как будто сытому волку баранов-то жалеть не приходится. В чем дело-то у вас?

— Вот ты всегда, государь, так! Ведь я не

худое говорю и не со злом к тебе пришел! А что вышло? Так тоже пустое! Есть у меня доверенный приживальщик: холоп — не холоп, а человек верный по службе...

— Знаю его, видал. С ним, что ли, Ванька набуянил?

— Его, государь, Орлов побил. Сошлись они в остерии, Ванюшка шумен был и надерзил... Только не к тому речь веду, чтобы наказывать парня... Бог с ним! А только, ежели ты ему хороший отеческий совет дашь, так это ему впрок пойдет.

Во все время, пока Меншиков говорил, царь смотрел на него испытующим взглядом, как будто старался проникнуть в его сокровенные мысли. Однако лицо фаворита было совсем спокойно, и его взгляд не отражал никакой задней думы, так что царь на этот раз поверил его искренности.

— Ну ладно, поговорю с Ванькой. Кстати, — хватился он за карман, — тут его один донос лежит. Ежели по ходу дела что замечу, так и дубинкой не замедлю наградить, а теперь вот такое у меня до тебя, Алексашка, дело.

— Слушаю, государь, приказывай!

— Суть не в приказе, а в том, чтобы правду знать. Знаешь ведь, поди, какое это отродье — все Монсовы?

— Еще бы мне не знать! — усмехнулся Александр Данилович. — Недаром же я около тебя с дней младости нахожусь.

— Ну, так вот что: дошло до моего ведома, что Вилька Монсов и сестра его Балкша больно немилосердно дерут, так лихоимствуют, что я боюсь, как бы мне жалобы не пришлось разбирать.

— Ну, что ж тут такого? — равнодушно проговорил Меншиков. — Все мы — люди, все — человеки, все последнюю шкуру готовы содрать, если случай подвернется. Ты только один у нас не лихоимствуешь, да и потому, что лихоимствовать тебе нечего: у своего добра стоишь... А из нас этим делом все грешны.

— Знаю! — проговорил царь. — Вот как только ты приходишь ко мне да заводишь речь, я сейчас и думаю: «А сколько же Алексашка за это дело содрал?» У Монса же так выходит: драть он дерет, а просить меня ни о

чем не просит. Народ же к нему так валом и валит, и все с большими гостинцами; и к Балкше тоже. Так за что же им дают? Ведь даром кланяться не будут. Вот я и хочу узнать, что за причина, что для своих приносителей Монсов делает... Что это ты глазами заблестел? — вдруг подозрительно уставился Петр на Меншикова, заметив, что в глазах Данилыча заблестели какие-то огоньки.

— Не знаю, — спокойно отозвался Александр Данилович, — может быть, слеза прошибла... Только ты меня, батюшка, от такого дела уволь.

— Это отчего?

— Да оттого что, если я возьмусь за него, все подумают — а ты первым будешь из всего, — что я Монсову завидую, а посему и топлю его. Вот и выйдет неладное, ты опять разгневаешься и мне же беда будет. Повели об этом кому-нибудь другому, а своего сердца царского лучше всего не беспокой. Поверь, батюшка, если за Монсовым что-либо раскроется; теперь же дело это заводить не стоит, только себя напрасно растревожишь. Пойдем-ка лучше, батюшка, да посмотрим, как

твои красавицы-фрейлины пляшут; ведь кой-то вечер ты себе для веселости избрал, а сам дела придумываешь.

Тяжелое испытание

Петр ни слова не сказал своему фавориту и поднявшись с места, пошел вслед за ним к дверям зала, где были танцы.

Меншиков, окинув рысьим взглядом зал с порога, на мгновение остановил взор на сидевшей у стены Марье Даниловне Гамильтон и, приподымаясь на цыпочках, чтобы быть поближе к уху царя, тихо спросил:

— Что же это Машенька Гамильтова сидит и не танцует?

Царь тоже взглянул на фрейлину. Та была чрезвычайно бледна и, видимо, сидела через силу.

— Сказывали мне, что больна она, — ответил он Меншикову.

— А жаль! — проговорил тот. — Ведь она у нас — почитай лучшая танцорка. Ох, уж это бабье!.. Всякие-то у них болести водятся. Не узнали еще, чей ребеночек у фонтана подбран?

Петр сверкнул глазами. Какое-то страшное

подозрение вдруг запало в его душу, и, повинаясь внезапному порыву, он крепко сжал плечо бессменного фаворита.

— Ты в самом деле, Алексашка, сожалеешь, что Машенька не танцует? — тихо сказал он ему на ухо.

— Еще бы, государь, — ответил тот, — ведь сказывают, что лучшей танцоркой она почитается.

— Так вот вижу я, что кавалера у нее не находится, так поди потанцуй с ней.

— Я, государь? — воскликнул Александр Данилович.

— Да, ты! А то кто же? — ответил ему Петр, и его голос прозвучал так глухо, что Меншиков не осмелился послушаться этого приказа и тотчас же, расталкивая попадавших к нему навстречу, отправился через зал к сидевшей в уголке фрейлине.

Марья Даниловна сидела в углу и действительно перемогалась. Ее лицо было бледно, без кровинки, глаза впали, нос заострился.

— Машенька, — церемонно кланяясь ей, сказал Меншиков, — что ты такая? Ведь в гроб кладут краше!

— Ой, Александр Данилович, — ответила фрейлина, — неможется что-то мне, не первый день уже я в недуге.

— То-то я и вижу. А все-таки пойдём-ка, потанцуем.

Марья Даниловна вскинула на него изумленный взор.

— Говорю, неможется мне, — чуть слышно ответила она.

— Нельзя, Машенька, — так же тихо возразил ей фаворит. — Превозмоги себя, пойдём!.. Ведь это не я выдумал... он приказывает.

— Кто? — испугалась фрейлина.

— Царь! Он меня к тебе послал. Пойдём... Как-нибудь... нельзя отказаться... хуже может выйти. Ты прямо против него сидишь; взгляни на него: наверное, на нас смотрит.

Гамильтон подняла голову и взглянула. Петр стоял в дверях и в упор смотрел на нее. Она поняла, что на этот раз Меншиков говорит полную правду и что царь в самом деле желает, чтобы она танцевала, и потому, превозмогая себя, встала и, подавая Александру Даниловичу руку, тихо шепнула:

— Пойдем, но не губи ты меня, Александр

Данилович! Никогда я тебе зла не желала.

— Полно, полно, успокойся! — ответил тот. — Какое там зло? Мне самому тебя жаль.

Они вступили в круг танцующих.

Раздались далеко не стройные звуки музыки, начались танцы. Марья Даниловна действительно прекрасно владела собою и на этом вечере, последнем в своей жизни, танцевала лучше, чем кто-либо из ее подруг.

— Вот, ваше царское величество, — произнес Меншиков, подводя свою даму к Петру, — навеселились мы вдоволь, так навеселились, что просто до упаду!

— Видел, видел, — ответил Петр. — Ты, Марья, отличилась! Не напрасно про тебя говорят, что ты у нас — первая танцорка: плывешь, как пава. Хвалю и благодарю.

Он слегка кивнул фрейлине, давая этим знать, что дальше разговаривать с нею не желает, и отвернулся в сторону.

Меншиков церемонно по-придворному поклонился ему и повел свою даму к ее месту, говоря:

— Молодец, Марьюшка, молодец! Выдержала себя... Бедная ты, голубушка, жаль мне

тебя! Только ты не виновать меня, не по своей воле тебя я мучил... Но что это, что с тобой?

Марья Даниловна приостановилась на середине танцевального зала и схватилась рукой за грудь, как будто чувствуя недостаток воздуха. Ее лицо совсем побледнело и стало мелочным, веки вдруг тяжело сомкнулись и, внезапно лишившись чувств, она упала бы, если бы Меншиков не успел подхватить ее.

Произошло вполне понятное смятение; всякое «веселье» разом оборвалось, танцующие толпились около бесчувственной фрейлины.

И вдруг, заглушая говор, раздался громкий смех, мало походивший на смех человека. Это смеялся Петр, глядя на бесчувственную фрейлину своего двора...

— Вот так печальный случай для нашего веселья! — воскликнул он. — И впрямь Марья больна. Катеринушка, матка, ты бы свою девку домой отправила. Где здоровые веселиться собрались, там больным не место. Пусть отлеживается... Ведь бабье живуче! Ничего ей не сделается... А чтобы нашей фрейлине попра-

виться скорее, так мы за ее здоровье выпьем. Эй, кто там есть, холопы! Ладьте кубки и чаши! Объявляю вечернее всепьянейшее действие.

Все уже было приготовлено для попойки во внутренних покоях почтового двора. Через несколько минут Петр, подымая огромную чашу, громко возгласил:

— Веселие Руси — пити, нельзя без того быти. Это так еще наш незабвенный предок говорил, и не нам, потомкам, против его завета идти! — и царь приставил кубок к губам.

В это же самое время выступивший Монс, желая избавиться от лишней чары, ударил по струнам мандолины и звучно запел:

*Пей, пей чару до конца,
Пусть ни капельки винца
Не останется.
Пили предки наши встарь,
И теперь пьет русский царь,
Пьет и не туманится.*

*Пей же с ним и весь народ
Без устанки круглый год,
Будут пусть все шумными.
И пусть громко в шумстве том.*

*Похваляются царем,
От вина став умными.*

*Пусть все помнят на Руси,
Что, кому ни подноси,
Всякий выпьет хмельного
И, весельем возгоря,
Будет славить вновь царя.*

Впрочем, на этот раз вечерняя попойка как-то не особенно клеилась. Царь, явившийся на ассамблею веселым, вдруг закручинился. Он пил и не хмелел, и его громкие оклики то и дело раздавались, покрывая голоса. Для всех, кто более или менее близко знал Петра, ясно было, что он не в духе, но никто не мог определить, какая причина так разбередила его.

Царица Екатерина, предвидя возможность грозы, а с нею и великого «шумства», под первым удобным предлогом уехала во дворец, а царь еще оставался. Но затем и он ушел, однако слишком рано для подобного рода вечеринок.

Возвратившись в свой Летний дом, Петр отправился не на половину супруги, а в свою

комнату, и первый, кто попался ему на глаза,
был его денщик Иван Михайлович Орлов.

XLII

Налетевшая буря

Орлов был на дежурстве при царе в эту ночь. Он не ждал так рано своего господина и распорядился своим временем тоже по-своему. Дежурные и другие свободные денщики устроили для себя пирушку, и появление царя прервало ее. Товарищи Орлова разбежались, успев однако сообщить ему, где они намерены докончить свое веселье. Петр, возвратившись, при первом же взгляде заметил, что Орлов хмелен, но не сказал ни слова. Он махнул ему рукой и начал с его помощью раздеваться. Окончив раздеванье, государь отпустил денщика, но в постель не лег, а достал из кармана своего камзола поданное Орловым донесение и, сев к столу, довольно внимательно прочел его.

Донесение не показалось ему важным. Орлов сообщал о каком-то сборище «заговорщиков», а так как таких донесений в руках Петра была масса, то он оставил резолюцию на него до утра и, сложив бумагу вчетверо, опустил

на прежнее место в карман камзола. Карман между тем от ветхости подкладки подпоролся, и бумага упала между сукном и подкладкой, однако Петр не заметил этого. Он аккуратно развесил камзол на спинку стула у кровати, лег и скоро захрапел, заснув богатырским сном.

Услышав храпение государя, Орлов, находившийся в соседнем дежурном покое, не преминул воспользоваться этим. Как ни грозен и ни взыскателен был государь, а его денщики были народ довольно распущенный, и Петр нередко должен был принимать крутые меры, чтобы предупредить их исчезновение с дежурства. Не говоря уже о том, что он не раз порядочно-таки охаживал виновных дубинкой, он даже завел в дежурных покоях шкафы, в которых на ночь запирали дежурных денщиков. Но и это не помогало: денщики ухитрялись исчезать из-под замка.

Иван Орлов был не хуже и не лучше других, притом же он был молод, а стало быть, и способен на всякие проделки. Едва услышав, что царь захрапел, и зная по опыту, что он не проснется до следующего утра, Орлов преспо-

койно ускользнул из дежурного покоя и отправился к покинувшим его товарищам. Там он и прогулял с ними до утра.

Между тем государь проснулся несколько раньше обыкновенного. Очевидно, он находился во власти какой-то идеи; выпитое вино совсем не подействовало на него. Его голова была свежа, соображение работало, и первой его мыслью было прочесть еще раз поданный Орловым донос. Он протянул руку к стулу у кровати и сунул ее в карман камзола. Доноса там не оказалось.

«Кто-то здесь был, — промелькнула в голове у государя мысль, — донесение выкрадено».

По всем покоям государевой половины пронесся зычный, гневный окрик царя. Разом, несмотря на раннюю пору, переполошился весь Летний дворец.

— Денщика Ваньку ко мне! — кричал Петр. — Он раздевал меня.

Увы, Орлова нигде не оказывалось.

Государь гневался все более и более. Он приказал немедленно разыскать гуляку-денщика, и тут ему вспомнились жалобы Мен-

шикова, о которых он совсем было позабыл.

«Пристрастить, пристрастить негодника надо, — все более и более приходя в гнев, думал царь. — От рук отбивается народ, даже царские покои ни во что не ставят. Последние времена пришли, ежели так!»

Орлова разыскали довольно скоро. Он был сильно нетрезв, и когда ему рассказали, что царь в страшном гневе, то пришел в ужас. Но причину царского гнева сообщить ему никто не мог: ведь о затерявшейся бумаге знал только государь. Поэтому, пока Орлов вместе с провожатыми добирался до дворца, шли всякие догадки о причинах царского гнева. Между прочим Ивану Михайловичу рассказали о том, что произошло накануне на ассамблее и как царь заставил Марью Даниловну ни с того ни с сего танцевать с Меншиковым.

«О, Господи! — промелькнула ужасная мысль в нетрезвом мозгу царского денщика, хорошо знавшего о внимании, которое оказал в свое время красавице-фрейлине грозный государь. — Видно, все узнал его величество, узнал и оскорбился, что я по его стопам пойти осмелился. Быть мне, как Степке Глебову, на

колу! Ой, да что же мне делать-то? Как мне свою голову злосчастную спасти?»

Орлов трясся как в лихорадке. Пред ним была страшная опасность, и не находилось выхода. Разные мысли рождались, но ни одна из них не казалась ему удачной. Вдруг словно что-то осенило его.

«Государь правду любит, — пронеслось в его мозгу, — а если так, то нужно мне припасть к его стопам и во всем содеянном повиниться. Что ему Марья? Он уже больше не любит ее... Марья для него — все равно, что истоптанный лапоть. Припаду к августейшим стопам и, не дожидаясь опроса, сам во всем повинюсь».

Когда он предстал пред грозным царем, то сразу же понял, что буря разыгралась вовсю. Петра так всего и дергало, его глаза сверкали, на искривленных конвульсиями губах была видна пена.

— Негодник, такой-сякой!.. — закричал на дрожавшего денщика государь. — Как ты только осмелиться мог помыслить на такое дело? Что я для вас здесь — не царь, не помазанник Божий? Ты, сквернавец, молокосос, со

мною себя наравне поставить осмелился?

Выкрикивая все это, Петр имел в виду похищенный у него из кармана донос, перетрусивший же до последней степени Орлов понимал все эти царские выкрики по-своему.

— Батюшка, царь всемилостивейший! — кинулся он к ногам Петра. — Солнце одно на Божьем свете, и ты у нас один отец на земле. Смилосердуйся, не вели казнить!.. Люблю я Марьюшку.

— Что? — так и отступил в изумлении государь. — Любишь Марьюшку? Какую?

— Гамильтову, Марью Даниловну. И она ко мне ласкова всегда была. Думали мы оба, что позабыл ты о ней.

Он лепетал свои фразы, стараясь в то же время схватить царя за ноги, и не видел, какая страшная мука отразилась в эти мгновения на лице Петра, совершенно сменив недавний яростный гнев. Петр из этого совершенно неожиданного признания ясно понял, что Орлов не крал своего доноса и даже не имеет ни малейшего понятия о случившемся. Нет, другое ударило тут по сердцу могучего человека. Он снова почувствовал то же самое,

что пережил когда-то, просматривая бумаги утонувшего Кенигсека. Но тогда Петр еще был молод, в его жилах ключом кипела кровь, больше чувствовались уколы самолюбия, а теперь уже не гнев, а невыносимая скорбь овладела им.

Слегка оттолкнув Орлова, он подошел к своей кровати, взял камзол, еще раз опустил руку в карман и тут только убедился, что бумага цела и находится за подкладкою. Это успокоило его. Он оставил камзол и взглянул на все еще стоявшего на коленях Орлова.

— Давно ли ты любишь ее? — спросил он, сдерживая гнев.

Орлов почувствовал новые нотки в голосе царя и понял, что Петр уже не так гневен, как при его появлении. Однако, не соображая того, что происходит, он подумал, что царь даже доволен его любовной связью с фрейлиной, а стало быть, и говорить ему нужно именно в этом направлении.

«Быть может, его величество желает честно разделаться с Марьей, — мелькали у Ивана Михайловича мысли, — и благословит нас на супружество. Надо непременно уверить его в

том, что у нас любовь не пустяшная, а истинная».

— Ну что же, спрашиваю я, — возвысил Петр голос, — давно ли любовь промеж вас?

— Ваше царское величество! — завопил денщик. — Не будь на нас гневен, помилосердуй! Третий год уже любимся.

— Что? — проговорил тот. — Третий год?

— Так точно, ваше величество. Как отцу говорю.

Он осмелился поднять голову и взглянуть на государя.

Теперь лицо Петра было почти темное. Страшная обида всколыхнулась в его сердце, в нем заговорило самолюбие обманутого мужчины. Однако он сдерживался. Новые мысли зароились в его голове.

— Так, — воскликнул он, — так! Что же, и беременна она была?

Опять проклятое соображение о том, что непременно нужно уверить государя в долгой любовной связи между ним и фрейлиной, заставило Ивана Орлова ответить на этот вопрос утвердительно.

— Стало быть, она и рожала?

— Все мертвых, царь батюшка, мертвых!

— А! — вырвался стон из груди Петра. — Алексашка, Алексашка, — застонал он, — вот куда твои переговоры вели! — вспомнил он о намеках Меншикова. — Демон ты мой злой! Злодей вековечный! Раздавил бы я тебя, скверную гадину, если бы тебя кем-либо заметить смог. — И вдруг, словно повинувшись одной какой-то мысли, Петр так застучал кулаком по столу, что разом вбежали явившиеся на дневальство денщики. — Взять его, взять, негодника! — указывал царь на Орлова. — Запереть в крепость и держать, пока я о нем не повелю!

— Государь, помилосердуй! — завопил было Орлов.

Но его вопль тотчас же прервался: его схватили и выволокли из опочивальни.

Вне себя от страшного гнева бегал из угла в угол Петр, и гнев так и клокотал в его душе.

— Эй, кто там! — снова крикнул он. — Привесть сюда с царицына верха девку Машку Гамильтону!.. Нет, не нужно!.. Видеть мерзкую не желаю... не желаю. Нарядить уголовный суд над нею... взять ее за приставы! Сам я на

суде свидетельствовать стану! Невинно пролитая кровь младенческая вопиет о мщении. Не оставлю я убийства неповинного существа ненаказанным.

Голос царя, перешедший уже в сплошной вопль, то и дело срывался. Лицо стало совсем черное, пена клубилась у рта. В бессилии он опустился на скамью, душевная мука надорвала богатырские силы, хриплые звуки, только издали походившие на истерический хохот, рвались из груди.

Разом было потревожено все население дворца. Прибежала разбуженная царица. Она было кинулась к супругу, но тот отшвырнул ее прочь, дико выкрикивая:

— Не подходи, не скверни! И ты такая же, как и все!..

Тут он не выдержал, сознание оставило его.

XLIII

Во имя «справедливости»

Гамильтон была взята не сразу. Когда прошел гнев и вернулась способность соображать, Петр ощутил жалость к несчастной женщине, которая была к нему близка, и решил было ограничиться домашним судом. Он уже отдал приказание двум дворцовым гренадерам выдрать батогами Марью Даниловну Гамильтон, и на этом, вероятно, покончилось бы все это дело, но вдруг все разом перевернулось — вмешался опять Александр Данилович Меншиков.

Царский приказ еще не был исполнен, когда он явился прямо к Петру, делая вид, будто решительно ничего не знает о происшедшем в злополучное утро. Даже не взглянул на своего бессменного фаворита Петр Алексеевич. Сразу же сообразил он, что неспроста явился к нему этот спутник всей его жизни. Но Меншиков прекрасно изучил царя и знал, что наглость лучше всего действует на него.

— Прибыл к вашему величеству со сроч-

ным докладом, — заговорил он, — благоволите выслушать меня неотложно...

— Что еще там у тебя, Алексашка? — взглянул на него налитыми кровью глазами Петр. — Опять ты душу мою бередить пришел?

— Ничего, государь, не поделаешь! — твердо ответил Меншиков. — По своей обязанности ближнего к вам человека не осмеливаюсь я замалчивать пред вами правду, так как ведомо мне, что вы, всемилостивейший государь, горой всегда стоите за нее.

— Говори же, говори скорей! — закричал Петр. — Каждое твое мерзкое слово, ядовитое, как жало змеи, впивается мне в сердце. Что у тебя еще такое?

— Неладные слухи, государь, по городу пошли. Боюсь, что много людей из-за них придется вам же нещадно наказывать. Тот задуманный младенец, которого нашли у фонтана, был обернут в дворцовое утиральное полотенце с вашей царской короной...

— Ну, знаю. Что ж из того? — холодно ответил царь.

Но Меншиков не смутился.

— А то, государь, — продолжал он свой доклад, — слух прошел такой: будто сей несчастный младенец, своей родимой матерью убитый, — не простой, а высочайшей во всем нашем государстве крови.

Страшный женский крик донесся из внутренних покоев. Петр сейчас же узнал голос своей супруги и, забывая о Меншикове, кинулся туда, откуда доносился шум. В покоях царицы он увидел сцену, которая в другое время — вероятнее всего только насмешила бы его: его «друг сердешненькой — матка Катеринушка», охватив своей мощной дланью несчастную Гамильтон за волосы, другой рукой осыпала ее градом пощечин.

— Говори, негодница, с кем ты путалась? — кричала рассвирепевшая царица, даже не заметившая появления супруга. — От кого у тебя щенок был, которого ты задушила? Не отстану, пока не скажешь.

Петр, должно быть, почувствовал себя не совсем ловко. Он знал, чем в яростном гневе становилась его супруга, эта женщина-атлет. Но, конечно, не это смутило его. Он ожидал, что скажет Мария Гамильтон, несчастная

женщина, не осмелившаяся даже спрятать лицо от града тяжелых ударов. Но она, эта жертва многих бурных страстей, увидела, кто смотрит на нее с порога царицыной комнаты, и вдруг словно просияла вся.

— Орлова я любила, — внятно и отчетливо проговорила она, глядя на смущенного царя, — им повинна я...

— Им? Врешь! — не унималась царица. — Жилы из тебя, подлой, вымотаю, а всю правду узнаю. Я тебе покажу, как на чужих мужей глаза пялить! Ишь ты какая!.. Орлов Ванька? Врешь... Куда поболее того себе кус захватила...

— Катерина, оставь! — очутился около нее супруг. — Оставь, я тебе говорю! — повелительно закричал он, схватывая супругу за плечо. — Суд я учинил над преступной матерью, и никто, кроме судей, даже сам я, допрашивать ее не смеет.

Появление супруга было неожиданностью для Екатерины Алексеевны. Она отпустила несчастную фрейлину и, горько зарыдав, приникла к Петру.

— Батюшка, Петр Алексеевич! — заголоси-

ла она. — Ведь подумай только — она наш честный дом опаскудила. Мало того, что с твоими денщиками шашни она вела, так еще всем рассказывала, будто я воск от угрей ем. Сам-то ты, поди, знаешь, нешто я такая уж прыщавая, чтобы воск есть? А потом мало того, эта девка обокрала меня, червонцы и вещи крала... разве это — не обида? А ты еще за нее заступаться вздумал!

— Молчи, Катерина, — последовал ответ. — Судьи до всего дознаются, и все ее вины по доказательству с нее будут взысканы. Возьмите же ее! — подтвердил царь свой утренний приказ, — и чтобы о розыске ею правды мне немедленно докладываемо было.

Тотчас же к Марье Даниловне бросились придворные слуги, а за дверьми покоя уже побрякивали коваными прикладами гренადеры. Однако виновная фрейлина жестом руки отстранила от себя челядь и сама пошла к выходу. На пороге она остановилась и умоляюще взглянула на государя. Тот же, увидев этот взгляд, потупился и отвернулся.

XLIV

Неудачное покушение

Невская столица в этот год много веселилась. Но, несмотря на всю внешнюю беззаботность столичной жизни, Тайная канцелярия и ее застенки работали не переставая. Дважды водили на кровавый розыск несчастную фрейлину Гамильтон, подвешивали ее на дыбу, шпарили горячими вениками, били кнутами, доискивались, кто был отцом ее последнего ребенка. Но она упорно молчала, и никакие муки не в состоянии были вырвать у нее то признание, которого усердно добивались ее мучители. 27 ноября тысяча семьсот восемнадцатого года состоялся приговор: казнить девку Марью Гамонтову смертью, но за отсутствием государя в Петербурге исполнение приговора было отложено.

Шли дни, а Мария Гамильтон все еще оставалась жива, и это наконец не на шутку начало беспокоить Меншикова. Знал он о совершенно новом обстоятельстве, до некоторой степени обрававшем все его планы в ничто:

вдруг ни с того, ни с сего у несчастной фрейлины очутился могучий заступник — царица Екатерина Алексеевна.

«С чего это она? — старался проникнуть в глубь соображений царицы бессменный фаворит. — Ведь какое она зло на Машку держала, а тут вдруг — на-кося — жалость почуяла и, меня не спросив, действует! Что такое может это значить? И что если теперь ночная кукушка дневную перекуковывает».

Меншиков ревниво берег свое влияние на царицу, но вместе с тем в последнее время ему все чаще и чаще приходилось сталкиваться с другим влиянием, с другой волей, и временщик невольно чувствовал опасность для себя. Он знал, что могучий с виду царь был уже недолговечен. Единственный, кто мог бы быть ему вполне законным наследником, был уничтожен. После Петра оставался его малолеток-внук, и, конечно, вся власть должна была перейти к царице Екатерине Алексеевне, как ни призрачны были ее права на это. Вот именно такое положение в будущем и предусматривал Александр Данилович, страшась за всякое умаление своего вли-

нения на царицу.

«Посмотрим, — злобно думал он, вспоминая красавца камергера Виллима Монса, — потягаемся... Я-то — матерый волк, не давать же мне дорогу всякому щенку. Вот как его Екатерина жалует... Умрет Петр, так Монсов на его место при ней в открытую станет... Мне тогда в Березове только и будет место».

Вскоре его злобное чувство было еще более подогрето: он узнал, что Екатерина Алексеевна хлопочет о своей несчастной фрейлине, уговариваемая к этому именно сострадательным Монсом. И вот, едва узнав это, Меншиков решил приступить к решительным мерам.

Однажды вечером у государя в Летнем дворце собрались на совет его министры. В это время, пользуясь темнотою и невниманием денщиков, в переднюю прокрался какой-то незнакомец, за пазухой у которого виднелась киса, сшитая из разных лоскутков. Она была вроде тех, в каких секретари и писцы того времени приносили к рассмотрению или подписи своим начальникам различные дела. Никто из денщиков и слуг, бывших в то

время во дворце, не обратил внимания на незнакомца: вероятно, они приняли его за подьячего или писца из какой-нибудь коллегии, явившегося к государю с делами; незнакомец тем более не обращал на себя внимания служителей, что стоял совершенно равнодушно и спокойно и в течение нескольких часов с кисой под мышкой терпеливо ждал выхода государя.

Наконец совет кончился. Царь Петр по обыкновению пошел проводить своих министров в прихожую. В это мгновение незнакомец обернулся к стене и незаметно вынул из кисы что-то...

Между тем государь повернулся и пошел было уже назад к себе в комнаты. Тогда незнакомец так смело и решительно последовал за ним, что окружающие могли подумать, будто сам государь приказал ему идти за собой. Однако так как подобного приказания никто не слышал, то один из служителей побежал за незнакомцем и в дверях передней загородил ему дорогу. Когда же тот стал напирать, служитель толкнул его и спросил:

— Кто ты такой, и что тебе надобно?

Тот, не отвечая, продолжал проталкиваться вслед за государем. Петр услышал шум и, обернувшись, спросил:

— Что там?

Должно быть, могучий голос и грозный вид Петра испугали злодея: у него выпала из-за пазухи киса, а из-под нее выскочил «превеликий нож». Преступник пал на колена и признался в своем умысле.

Государь сам схватил его и спросил:

— Что ты хотел ножом делать?

— Тебя зарезать, — ответил преступник.

— За что? — продолжал спрашивать Петр совершенно спокойным духом — Разве я чем-либо обидел тебя?

— Нет, — ответил злодей, оказавшийся раскольником, — мне ты никакого зла не сделал, но сделал нашей братии и нашей вере...

— Хорошо, — продолжал Петр, — рассмотрим это.

Государь велел взять преступника под караул и ничего с ним не делать, пока он сам завтра обстоятельно не расспросит его.

О том, что случилось далее с этим злоумышленником, нет никаких сведений ни в

рассказах современников, ни в делах Тайной канцелярии. Но на другой день после этого случая Александр Данилович явился к государю и долго беседовал с ним о каких-то тайных делах. Грозный царь сильно гневался и кричал на своего бессменного фаворита, но тот ушел от него необыкновенно веселый и без всяких признаков какой бы то ни было опалы.

В тот же вечер его любимец Кочет с выданным светлейшим князем паспортом провожал за заставу какого-то человека.

— Ну, прощай, друг, — сказал он, расставаясь с отъезжавшим у Глазова кабака на реке Лиге, где была почтовая станция и проверялись паспорта отъезжающих. — Все я для тебя сделал... Иди же с миром к своим старцам и, ежели когда услышишь обо мне, не поминай лихом.

А на следующее утро царь Петр утвердил смертный приговор фрейлине Гамильтон.

Кровавый конец любви царя

В туманный мартовский день тысяча семьсот девятнадцатого года на Троицкую площадь близ крепости толпами сходились всякого звания люди. Они собирались довольно равнодушно и особенного интереса не проявляли: казни в то время в Петербурге совершались чуть ли не ежедневно. На возведенном посреди площади эшафоте, на столбах, еще висели полусгнившие головы нескольких заговорщиков по делу царевича Алексея, казненных за три месяца до этого. В собиравшейся публике пробуждало некоторый интерес к казни лишь то обстоятельство, что у эшафота должен был быть сам великий государь Петр Алексеевич. Впрочем, и это не было новинкой петербургской публике — государь часто бывал при казнях.

А неподалеку, через площадь, в каземате крепости, словно невеста к венцу, собиралась на эшафот несчастная фрейлина, Марья Даниловна Гамильтон. К ней вообще после пыток

относились снисходительно и незадолго до казни ей возвратили даже некоторые ее платья. Теперь, в последнее утро своей жизни, Марья Даниловна, еще задолго до рассвета, тщательно причесала и убрала свои роскошные волосы.

Странно! Ни страха, ни смущения не было заметно на ее хотя и поблекшем, но все-таки красивом лице.

— Чего ты? — удивлялся непонятной ее веселости видавший всякие виды часовой. — Ишь как убираешься! Многие отсюда на Трицкую площадь отправлялись, так больше все плакали и сокрушались, а ты вона — поешь!

— Ты — грубый, дерзкий солдат, — ответила ему Марья Даниловна, — и ничего не понимаешь. Сегодня день моего освобождения...

— Ну да! — возразил солдат. — Как же! Освободят!..

Бедная женщина только засмеялась ему в ответ.

— Слушай и запомни, что я скажу тебе, — быстро заговорила она, — тот, который все может, вот здесь, в этих стенах, сказал мне,

что рука палача не коснется меня.

Солдат был смущен. Он понимал, про кого говорит осужденная, и боялся даже сказать что-либо. Ведь он знал, что великий государь бывал в каземате этой пленницы, тайно разговаривал с ней, а ее веселость уверяла его в том, что эта женщина будет в последний момент помилована.

Марья Даниловна нарядилась для казни в белое шелковое платье, украсила еще лентами этот свой наряд и весело пошла за конвоем из каземата. Свежий весенний воздух пахнул ей в лицо, когда она очутилась на крепостном дворе. Душно было в каземате, и вот, наконец, пред нею снова были Божье небо, родная земля! Еще немного — и все будет кончено, все, что было до этого, останется страшным сном, а впереди — жизнь, счастье!.. Ведь он, великий, всемогущий, еще любит ее, еще помнит о ней! Так думала эта бедная женщина, переходя площадь к роковому эшафоту.

Вот и эшафот. За ним, сверкая позолоченными главами в лучах весеннего солнца, виднелся храм Всевидящего Бога, Бога любви и всепрощения — Троицкий собор. На помосте

люди, но палача не видно... Вот стоят секретари Тайной канцелярии, вон Екатерина Семенова, вынесшая убитого ребенка, тут же кругом группа придворных. Вдруг радость и счастье переполнили душу шедшей на смерть женщины: она увидела царя Петра. Да, да, еще несколько минут — и вся эта комедия будет кончена; если не свобода, то жизнь будет сохранена!

Сама, без посторонней помощи, взбежала Марья Даниловна по ступенькам эшафота и тут только заметила, что вместо обычного палача у плахи стоит обер-кнутмейстер, то есть чиновник Тайной канцелярии. Это еще более ободрило ее, еще более усилило в ней уверенность, что после прочтения приговора она будет помилована.

Не будучи в силах сдержать охватившего ее радостного чувства, она взглянула на государя и улыбнулась. Петр заметил эту улыбку. Его лицо вовсе не было ни гневно, ни грозно; он непринужденно-весело разговаривал с окружающими.

— Девка Марья Гамильтон да баба Катерина, — воскликнул секретарь Триполянский,

начиная чтение смертного приговора, — Петр Алексеевич, всея великия и малыя, и белыя России самодержец, указав за твоя, Марья, вины, что ты жила блудно и была оттого брюхата трижды, и двух ребенков лекарством из себя вытравила, а третьего родила и удавила, и отбросила, в чем ты во всем с розысков повинилась: за такое твое душегубство — казнить смертью. А тебе, бабе Катерине, что ты о последнем ее ребенке, как она, Марья, родила и удавила, видела и, по ее прошению, онаго ребенка с мужем своим мертвого отбросила, а о том не доносила, в чем учинилась ты с нею сообщница же, — вместо смертной казни, учинить наказание: бить кнутом и сослать на прядильный двор на десять лет.

Марья Даниловна равнодушно выслушала чтение приговора; ее думы были далеко, и она встрепенулась только тогда, когда увидела около себя Петра, с нежностью во взоре наклонившегося к ней.

— Ну, прощай, Марьюшка, — громко и внятно проговорил государь, — видно, так Бог тебе судил и Его на то святая воля. Без нарушения божественных и государственных за-

конов не могу я спасти тебя от смерти... Итак, прими казнь. Верь, что Всемилостивый Бог простит тебе в грехах твоих; помолись только Ему с раскаянием и верою.

Он обнял и поцеловал осужденную.

Словно какая-то сила метнула несчастную на колена.

— Великий государь, прости, помилуй! — завопила она.

Петр склонился к уху обер-кнутмейстера и что-то шепнул ему.

— Всемилостивейшее прощение, — прошептал среди толпившихся на эшафоте людей, — счастливица, помилована!

— Государь! — вопила Марья. — Ты знаешь все. Ведь я тебя...

Она не договорила. Сверкнул топор, и разом отрубленная голова несчастной покати-лась по эшафоту. Царь сдержал свое слово. К тому телу, которое он обнимал, целовал, любил, не прикоснулась рука палача: обер-кнут-мейстер нанес столь ловкий удар, что сразу снес голову, даже не положенную на плаху.

Все смолкло, все молчали, а царь Петр, спо-койно наклонившись, поднял голову несчаст-

ной красавицы и поцеловал ее в открытые губы, а потом, повернув ее так, что видно было то место, по которому прошел топор, громко, ровно, без малейшего признака волнения, произнес так, что слышали все:

— Вот сия жила есть сонная артерия, а в сем месте соединение позвонков спинного мозга.

Затем он еще раз поцеловал мертвую голову, опустил ее на землю, перекрестился и уехал с места казни.

Только тут выступил настоящий заправский кат и стал жестоко сечь кнутом «бабу Катерину».

Так завершилась кровавым концом последняя любовь могучего царя.

Но своему сопернику в этой любви, Ивану Орлову, государь и не подумал мстить. Спустя некоторое время Орлов был приведен на одну из ассамблей.

— Ежели ты и виновен, — сказал ему государь, — то как нет точных тому доказательств, то да судит тебя Бог, а я жалую тебя поручиком гвардии.

С этих пор он начал делать свою блестя-

щую карьеру.

XLVI

Нежданный гость

Любовь Марьи Даниловны Гамильтон была последней в жизни могучего человека, направлявшего жизнь целых народов по своему желанию, и в то же время клонившего голову перед тем маленьким крылатым божком, которому древние эллины дали имя Купидона. Сильна была власть божка: он творил с могучим человеком удивительные вещи, заводил его в такие дебри страданий, откуда выходом чаще всего была только одна смерть.

Да, в этой жизни, в жизни могучего человека, любовь действительно была сплошным страданием.

В самом расцвете жизни, в труднейшие мгновения ожесточенной борьбы и за жизнь, и за трон, впервые загорелась в пылком московском царе-юноше звезда любви. Его воображение впервые поразила женщина, первая красавица московской Кукуевской слободы Анна Ивановна Монс.

В конце жизни для Петра засияла другая

звезда, необыкновенно красивая, духовно более совершенная, но преступная и уже искусившаяся в любви Марья Даниловна Гамильтон; она попробовала было занять такое же место, какое занимала в жизни царя Анна Монс, но это уже не удалось ей, ее расчеты не оправдались — и она кончила свою жизнь на эшафоте.

Среди этих двух женщин в жизни Петра слишком определенное место заняла третья женщина — Марта Скавронская, простая крестьянка, вдова Рабе, мариенбургская пленница, ставшая затем женой могучего царя и русской императрицей Екатериной Алексеевной. Она выиграла более всех своих соперниц, может быть, потому, что к любви не стремилась и была вполне довольна создавшимся своим положением.

Но никогда Екатерина не была для Петра тем, что были и Анна, и Мария. Вокруг нее была атмосфера не любви, а привычки, и только. Она была нужна царю Петру только потому, что умела создавать ему известный комфорт, но никогда не была любимой им женщиной. Вот поэтому-то самому она и до-

стигла того, чего не могли достигнуть две другие, игравшие в жизни Петра столь заметную роль, женщины. И она не только достигла всего, но сумела сохранить за собой положение, силу, власть, тогда как Мария Гамильтон, в сущности говоря, ничем не виноватая пред Петром, умерла под топором.

Страшная смерть Марии Гамильтон как будто упрочила положение Екатерины Алексеевны. Теперь она осталась одна; около Петра Первого других женщин не было, или они уже не привлекали внимания все более и более старевшего и перестававшего искать любовных утех царя.

Сохраняя могучую внешность, Петр в начале шестого десятка своей жизни был уже дряхлым стариком, для его же супруги только еще наступал жизненный расцвет.

А тут на долю царя выпал новый труд: персидский поход. Петр полубольным отправился в прикаспийские и казикумыкские степи; трудности пути, смена климата — все это плохо влияло на него, а когда он возвратился домой, то ничего уже не радовало его. Царь по-

чувствовал, что разрушается его семейный очаг: единственное, чем он дорожил в своей многострадальной жизни. Доказательств к тому у царя Петра не было, но он чувствовал, что ему готовился удар.

Однажды, когда государь отдыхал в одной из комнат почтового двора, к крыльцу подкатила подвода, из которой вышел порядочно пожилой приезжий в немецком — но не в военном, а в гражданском платье. За ним из подводы вышла женщина, довольно стройная, довольно молодая и красивая собою.

Заслышав стук колес, Петр выглянул в окно, и на его лице отразилось не то удивление, не то любопытство.

— Черты сих лиц как будто знакомы мне, — сказал он в раздумье, обращаясь к дежурившему при нем в то время денщику Павлу Ивановичу Ягужинскому. — Вот только не могу припомнить, где я видывал эту персону.

— Прикажешь, государь, узнать, кто такие? — весело спросил его Ягужинский и направился к двери.

— Постой! — остановил его Петр. — Узнать-то не хитро, да не того мне хочется.

Неужели же я так ослаблен памятью, что припомнить не могу своего знакомца? Нет, я уж не так стар, чтобы забывать! — Петр на мгновение закрыл глаза и взялся рукою за лоб. — Ай, вспомнил-вспомнил! — воскликнул он. — Зови его сюда. Скажи просто: знакомый-де здесь на постоялом и видеться с тобою желает.

Ягужинский быстро вышел за двери.

— Ведь сколько лет пронеслось! — тихо проговорил государь, медленно прохаживаясь по обширному покою. — Дни юности снова восстали предо мною. Из тех, кто был со мною тогда, уже немногие остались, да и кто остался? Старики, развалины, а этого я почти три десятка лет не видал. И вот он снова предо мною, мой противник ярый, мною смиренный, обласканный, прирученный волчонок. О нем я не слыхал, что было с ним — не знаю, и вот нежданно встречаю его! Он в мой Парадиз приехал. Интересно, каков-то он? По-прежнему ли он злобится на меня, или до конца смирился?

Дверь осторожно отворилась. В сопровождении Ягужинского в покой вошел приезжий.

Он остановился у порога и пристально посмотрел на государя. Тот, при его появлении находившийся у окна, повернулся, взглянул на него, но не грозно, а скорее ласково, и, слегка улыбаясь, сказал:

— Ну, здравствуй, свет Михайло! Давно мы не видались! Привел Бог встретиться... Что же ты молчишь? Не узнаешь?

— Царь! — воскликнул тот. — Петр Алексеевич.

— Да, это я. Едва ты подкатил к крыльцу, я угадал знакомца. Ты — Михайло Родионов, сын Каренин. Видишь, помню я, а лет прошло много... Ну, что же ты? По-прежнему гневись, воображая, что любушку я отбил у тебя?

— Государь! — дрожащим голосом воскликнул приезжий. — Зачем ты вспоминаешь прошлые ошибки? Из глуши непроходимой стремился я в твой Питер, чтобы поклониться тебе. Позволь же мне челом тебе ударить!

Каренин склонился было, кланяясь государю земным поклоном, но Петр быстро удержал его.

— Оставь, Михайло! Не нужно мне этих поклонов здесь. Я здесь не царь, я — Петр Михайлов, так ты и запомни и говори со мной без лишних церемоний.

Он отошел и присел к столу, взяв в руки трубку.

Ягужинский сейчас же высек огня и поспешил подать раскурить.

— Ну, Михайло, расскажи недлинно, как ты живешь? Что твой брат Павел? Когда я был в Париже, так он встречал меня. Не захотел он тогда со мной на Русь вернуться, а после я о нем как будто и не слышал...

— Государь! Умер Павел.

— Умер? Царство ему небесное! — притуманился Петр. — Какая же болезнь свела его в могилу?

— Не от болезни преставился он, государь. Когда уехал ты, один придворный щеголь над тобою вздумал посмеяться...

— Ага! Ну и что же?

— А то, что брат, завет московский помня и не стерпев обиды государю своему, приколотил его, всего искровянил, а тот, по своему обычаю, его на поединок вызвал и шпагой за-

КОЛОЛ.

На лице царя Петра появился оттенок грусти.

— Да, жаль его, — сказал он, — был верный слуга и друг. Не много у меня таких! Остались у него дети?

— Нет, никого, государь: он одинокий был.

— А ты?

Облако смущения появилось на лице Михаила Каренина.

— Ну, вижу, вижу, что ты не бобылем жизнь скоротал, — усмехнулся государь. — С тобою там, я видел, женская персона. Жена или дочь?

— Не знаю, как тебе сказать, государь. Приемная она мне сестра как будто, и, помнится, ты малость знаешь ее...

— Да разве? Кто же она такая?

— Припомни, государь, в Немецкой слободе немчинку Фогель, что мне с братом за мать была.

— Фогель? — нахмурился Петр. — Ее, что ли, дочь?

— Она, она! Большие ей испытания послала судьба. Привез я ее из-за рубежа сюда, туда

же она ненароком попала. Вишь ты, государь, хотелось ей на родине отца побывать, вот за одним из твоих посольств она и увязалась, да бедствовала там; я пожалел сиротку и, как возвращался на Русь, с собою ее привез. В глушь я завез ее, и жила она при мне женой. Теперь я вдовцом остался. Зазорно стало мне жить с нею в одном доме, и вот надумал я тебе ее представить.

Государь засмеялся.

— Ох, Михайло! Стары-то мы с тобой стали, но все же седина у нас в бороду, а бес в ребро... Ох, греховодник ты этакий!

— Думай, государь, как хочешь, — засмеялся и Каренин, — а только склонись на мою просьбу.

— Ладно, посмотрю, что там. Сам-то я тут из далекого похода вернулся. Вишь ты, дербентские кумыки заворошились, а их земля издревле достоянием русского престола была, так туда было нужно. Ах, дело-дело! Везде-то и всюду самому быть надобно: людей вокруг многое множество, а положиться не на кого...

— Ау, государь, таково уж дело хозяйское! Свой глаз везде и всюду алмаз.

— Верно! Чужой — стеклышко... Да в том-то и беда, что годы-то уже немалые становятся, тут бы на отдых пора, а вон тащись за тридевять земель, в тридесятое государство. Так приходи, Михайло, ко мне в Летний дом и свою девицу приведи с собой. Я и теперь на нее поглядел бы, старину вспоминая, да вот, — кивнул он на окно, — мою ладью к пристани подали, ехать нужно по делам в крепость. Иди, отдохнешь с пути! Только смотри: русский царь вместе с солнцем встанет; чем раньше явитесь, тем больше времени останется для беседы.

XLVII

Старые знакомцы

На другое утро Михаил Каренин и та, которую он называл своей «приемной дочерью», входили за ограду Летнего сада.

Хорош был Летний сад: разбитый по проекту знаменитого архитектора Леблона, он считался лучшим из садов европейских столиц. Да так и должно было быть. Липы — главное его украшение — росли здесь еще до прихода русских к устью Невы, и эта липовая роща так нравилась Петру Алексеевичу. Царю Петру оставалось только подправить да подчистить то, что было запущено во время борьбы со шведами за Петербург, и уже только поддерживать в полном порядке замечательный сад.

Стража у входа в сад, очевидно, была предупреждена о появлении новых людей, и Каренина с его спутницей пропустила беспрепятственно.

Мария Фогель к этому времени из ребенка превратилась в красивую пышную женщину.

В ней было именно то, что всегда нравилось Петру: высокий рост, пышная грудь, смелый взгляд, румяные щеки. Все в ней было привлекательно; это была уже женщина вполне опытная, вполне искусившаяся в любви и умевшая сулить взглядами рай на земле.

— Государь в беседке на Фонтанной, — предупредил дежурный у ворот начальник стражи. — Идите все прямо, потом свернете по аллее направо и выйдете к самой беседке.

Каренину не повезло в это утро. Когда он и Мария дошли до царской беседки на берегу Фонтанной, то увидели, как царский катер в этот момент отвалил от небольшой пристани. Они опоздали. Как раз в этот день на Косом канале был назначен смотр новых галер и царь спешил туда. Однако, увидав своих гостей с лодки, он приветливо махнул им рукой, и этого было вполне достаточно, чтобы оставшиеся на берегу обратили внимание на Каренина и Марию.

— Узнай, кто такие и откуда, — шепнул своему верному Кочету Александр Данилович Меншиков, спешивший к своему катеру, чтобы отправиться на смотр вместе с царем, — а

потом все подробно доложишь мне.

Кочету было достаточно взгляда, чтобы узнать в приезжем старике когда-то молодого боярина Каренина, из-за которого он в дни своей юности попал в застенок. Воспоминания разом ожили в его сердце, и он, недолго думая, подошел к приезжему.

— Боярину Михаилу Родионовичу поклон! — склонился он пред Карениным. — Поди, ведь не узнал знакомца?

— Нет, не признаю что-то, — ответил тот, пристально вглядываясь в Кочета, — и совсем не припомню, где мы видались.

— Было дело, боярин, давно было! У тебя, боярин, тогда не только седины не было, даже и усов-то с бородой не заводилось.

— Ой-ой-ой, какое время вспомнил, молодец, как величать, не знаю! — засмеялся Каренин.

— Давнее, боярин, давнее, Кукуй-слободу припомни! Но забыл, поди, как там царь Петр со смертью разговаривал, а ты нас, стрельцов, сбивал антихристу-оборотню кузькину мать показывать...

— Ой! — воскликнул Каренин. — Да не Ко-

чет ли ты?

— Он самый и есть. Только Кочет-то стрельцом был, а я при светлейшем князе Александре Даниловиче Меншикове в ближних людях состою. Припоминаешь уговор старинный?

— Так, так!.. Вот уже не чаял встретиться!.. А знаешь что? Ежели ты — Кочет, так Телепня помнишь?

— Еще бы такого друга сердечного не помнить!

— Так вот я тебе и скажу, и порадую, может быть: оный Телепень со мной к вам в Питер прибыл и все тебя, своего друга, вспоминает. Ну да об этом речь потом... Скажи — человек я здесь новый, — как мне быть? Царь-то приказал явиться, да, видно, я опоздал; что и делать теперь, не знаю.

— Царь приказал, — раздумчиво проговорил Кочет, — да вот, видишь, нет его. Теперь ежели и вернется он со смотра, так не ближе, как за полдень. Все галеры, кои спущены, на Неву пойдут, а как царь этим делом займется, так скоро его и не жди. Вот как выходит! Сидеть тебе здесь в саду придется, пока царь не

вернется. А то, может быть, вот что я тебе устрою. Хочешь за ним вдогонку идти? Видишь, лодки одна за другой отчаливают? Так я, пожалуй, на какую-нибудь из них тебя пристрою...

— А как же вот она-то? — указал Каренин на свою спутницу.

— А твоя дама пусть уж здесь подождет, пусть погуляет. Сад здешний больно хорош, тени много. Вернешься ты с Невы, вот и встретитесь. Тут всяких кавалеров много, скучать она не будет.

Каренину такое предложение пришлось по сердцу, и он изъявил свое согласие. Его спутница тоже была не прочь остаться в саду, где она видела столько придворной знати.

Лодок у царской пристани было порядочно. Кочета все знали, и он в самом деле без труда устроил Каренина на одно из отплывавших суденышек, Мария Фогель осталась одна. Но это одиночество нисколько не пугало ее; напротив того — она держала себя без малейшего смущения и смело отвечала на довольно-таки откровенные взгляды такими же ответными взглядами.

XLVIII

Друзья детства

Однако Марии Фогель недолго пришлось побыть в одиночестве. Виллиму Монсу сразу бросилась в глаза красавица, и он смело подошел к ней.

— Я вижу, что вы, прекрасная госпожа, недавно прибыли сюда, и от души радуюсь этому. Скажите откровенно, не могу ли я быть чем-либо полезен вам? Я по себе знаю: новоприезжему тяжело быть в незнакомом городе.

Почтительно склонившись, он ожидал ответа.

— Господин Монс, — ответила по-немецки Мария Фогель, ласково улыбаясь, — вы много одолжили меня, сделав мне честь своим разговором.

— Как? — изумленно воскликнул Виллим Иванович. — Вы знаете мое имя?

— О, да. Конечно, лета весьма значительно изменили вас, но дни детства никогда не изглаживаются из памяти. И разве можно поза-

быть того, с кем за невинными детскими играми проведены многие часы в далекую пору?

Монс был не на шутку смущен.

— Ради Бога, прекрасная госпожа! — воскликнул он. — Дайте мне еще несколько намеков, чтобы я мог припомнить те дни, о которых вы сказали.

Он с поклоном предложил Марии свою руку. Та приняла ее, и они пошли по тенистой аллее.

— Охотно готова помочь вашей памяти, — заговорила Фогель. — Кукуй-слобода под Москвой, ваша милая сестра Анхен; вы — самый бойкий, веселый мальчик Вилли, и около вас почти всегда ваша маленькая подруга Марихен Фогель.

— Как? — воскликнул Монс. — Вы — та самая Марихен, милая сиротка? О, небо, какая встреча! Что я вижу? Сон наяву? Скажите же, умоляю вас: вы — Мария Фогель?

— Да, да, это — я. Судьба послала мне многие испытания, но нашелся добрый человек, который не оставил меня в дни невзгод, и вот я теперь явилась сюда в надежде, что, быть

может, царь Петр припомнит далекие дни своей юности и в память их окажет мне свое покровительство.

Разговаривая так, они вышли почти к самой Неве.

— Я все еще не могу прийти в себя! — воскликнул Виллим Иванович. — Такой день, такая встреча! Нет, как хотите, это — сон. Прошло столько лет, и мы, друзья детства, опять вместе. Жаль, что нет со мной моей мандолины: я чувствую присутствие Аполлона и готов воспеть этот блаженный миг.

— Я рада, — тихо ответила Мария, — что на первых порах встречаю друга, и надеюсь, что наше знакомство не ограничится только одной встречей... Но что там такое кричат на реке? Вы слышите?

— Ах, пусть их там! Эти русские не могут обойтись без крика, — ответил Монс, но тем не менее взглянул по тому направлению, откуда слышались крики. — Э, да там действительно что-то случилось. Кажется, опрокинулась какая-то лодка...

* * *

Между тем с Невы, гонимая могучими уда-

рами весел, неслась одна из галер; на ее корме стоял сам царь. Он быстро причалил к своей пристани и большими шагами направился к своему летнему дому. Вид у него был расстроенный, ноздри раздувались, лоб был нахмурен. Как раз на полупути его встретила царица, привлеченная доносившимися с реки криками.

— Дурное предзнаменование, Катеринушка, — проговорил государь, — не суеверен я, но все-таки думается, что нам грозят какие-то напасти.

— Что, что случилось?

— Да вот какое дело вышло. Позвал к себе я гостя. Да вот во время галерного маневра опрокинулся челнок с сим наезжим, и он очутился в воде.

— Вытащили? — торопливо спросила царица, зная, что подобные несчастные происшествия во время парадов всегда производили весьма удручающее впечатление на ее супруга.

— Вытащили, — ответил царь.

— И жив?

— Жив-то жив, да плох. Года сказались. Вот

пообедаем, пойду проведать...

Однако только к вечеру удалось государю навестить Михаила Каренина.

Его устроили в домике одного из дворцовых служителей, в отдельном покойчике. Он был весьма слаб, но сознание не оставляло его. Когда государь, стибаясь в три погибели — покой был слишком низок для такого рослого человека, как он, — вошел к Каренину, тот улыбнулся. Эта улыбка несказанно удивила царя Петра. В ней было что-то особенное.

— Спасибо, Петр Алексеевич, что пришел проведать меня, — слабо, чуть слышно проговорил старик. — Вот посылает Господь по мою душу...

— Полно! — сказал Петр. — Поживем еще, не затем же ты в мой Парадиз приехал, чтобы помирать?

— Ох, не затем, угадал ты царь! Не затем я к тебе мчался, только знал я, что смерти-то мне здесь все равно не избежать, и живому мне из твоего логовища не уйти.

— Да ну? — удивленно спросил царь. — Или что-либо худое на меня помыслил?

Каренин ответил не сразу. Прошло несколько мгновений, пока он сказал:

— Выглянь-ка за дверцу, государь, не подслушивает ли кто, а потом присядь ко мне поближе, да поговорим. Хочу я тебе сказку одну рассказать.

Иронический тон голоса и какое-то особенное выражение на лице старика подсказывали царю Петру, что его ожидает необыкновенное признание. В нем было затронуто любопытство, да вместе с тем он понял, что Каренин говорит неспроста.

— Ну, вот я и сел около тебя, — сказал он. — Говори, а я слушать буду.

— Слушай-ка, — тихо заговорил Каренин. — Помнишь, у твоих отцов-царей и у дедов обычай был: ежели кто кого обидит, так выдавать обидчика обиженному головой для бесчестья. Так вот я тебе скажу. Мал я человек, а Бог-то за меня заступился и тебя, царя, ныне мне головою выдает...

Царь вскинул на него выразительный взгляд.

— А что же я тебе сделал? — спросил он. — Какую такую обиду я тебе причинил?

— Аленушку помнишь?

— Это еще какую? — наморщил лоб царь.

— Твоей Анки Монсовой любимую подругу. Помнишь, еще у немчинского попа жила, а к тому попу ты вхож был?

— Ну, помню? Что ж из того?

— А ты ее не отнял у меня? Ты меня за рубеж не отослал? Ты ее за немилого мужа не отдал... в могилу не свел? Так вот Бог-то за меня и посчитался с тобою. Велик ты и могущественен, нет предела твоей власти... Ты сечешь головы людские, и земные короли пред тобою дрожат, а вот нет для тебя на земле счастья радостного. Каждому простолюдину, каждому смерду послано от Господа Бога счастье, и радуется он в семье своей, а ты, царь великий, владыка сверх меры могущественный, где у тебя счастье-то твое? Вот ты уже и к гробу близок, а как только ты кого-либо полюбишь да душу свою каменную захочешь кому-нибудь отдать, так вместо того не радость, а горе для тебя выходит... В Анке Монсовой ты души не чаял, а что ж, разве она не посмеялась над тобою, над твоей любовью царской не издевалась с хахалями разными?

Вот ты Марью Гамильтон полюбил, а к чему любовь привела? Разве твое сердце на части не разрывалось, когда ты ее на плаху отправил? Ты вот жену себе завел. А какая она жена? Ведь и она над тобой посмеялась, первого встречного майоришку в дружки себе взяла. Вот такая твоя участь!..

— Молчи, молчи! — закричал царь.

Его глаза сверкали, грудь вздымалась, кулак уже поднялся, чтобы ударить несчастного. Каренин только засмеялся, ни малейшего испуга не было заметно на его лице.

— Не пугай, — произнес он, — теперь ты, царь, не страшен для меня; ведь уже сочтены мои минуты... я умру, прежде чем ты меня в застенки отправить успеешь, но, прежде чем умереть, скажу я тебе последнее свое слово, и будет то мое слово тебе таким ударом в твое сердце, какого еще и не бывало... Эх, ты, великий! Провидец, а под своим носом не замечаешь, что Вилька Монсов творит. Ведь он в России царствует, а не ты, антихристово порожденье; ты у него на послугах. А еще думаешь: «Я-де Карла Шведского победил!» Всякий глупый немец как хочет тобой вертит, и ты

выплясываешь под любую немецкую дудку, а своим слугам головы рубишь... Эх ты, великий!..

Громкий рев, вырвавшийся из груди Петра, заглушил едва слышный лепет Каренина. Лицо царя почернело, на искривившихся губах заklubилась пена, и он, весь сведенный судорогой, упал без чувств на пол.

Сбежались люди. Каренин лежал без движения, а на грязном полу бился в страшном припадке один из могущественных людей того времени.

XLIX

Отмщение

Прошло несколько дней, и весь знатный Петербург был поражен совершенно неожиданным известием.

Один из инквизиторов петровской кнутабойной троицы, Андрей Иванович Ушаков, самый свирепый и самый изобретательный из присяжных истязателей Тайной канцелярии, арестовал любимца петербургских красавиц, постоянного щеголя и придворного стихотворца Виллима Ивановича Монса.

Это было 5 ноября 1724 года. Что именно случилось, какие вины оказались за Монсом, об этом пока еще не знали, но вскоре после этого заговорили, что и государыня царица Екатерина Алексеевна вдруг стала очень немощна и перестала выходить из своих комнат. Говорили о каком-то доносе, поданном прямо в руки государю, но о том, чтобы учинен был розыск над Виллимом Монсовым, т. е. пытке, ничего не было слышно.

Потом вдруг стали хватать по монсову де-

ду разных людей: взяли его сестру генеральшу Матрену Ивановну Балк, ее сына, придворного щеголя Петра; заодно был схвачен и любимый царский шут Балакирев, но в чем было дело, какие обвинения были возведены на задержанных, об этом никто ничего не знал.

13 ноября 1724 года по улицам и площадям молодого Петербурга с полудня ходил странный кортеж. Взвод солдат сопровождал несколько барабанщиков, которые барабанным боем вызывали из домов жителей, и когда толпа собиралась, то вперед выходил сенатский чиновник и читал бумагу о том, что камергер Виллим Монс и его сестра Матрена Балк брали взятки и за то арестованы; если же кто-нибудь из обывателей знает что-либо по этому поводу, то обязан под страхом тяжелого наказания за сокрытие непременно заявить о себе.

Такие же объявления к вечеру оказались развешанными почти по всем улицам Петербурга, и из этих объявлений стало известно, что на 14 ноября в Зимнем дворце назначен вышний суд для вершения монсова дела.

Итак, все было сведено только к взяточничеству, иных обвинений красавцу-камергеру не было предъявлено; но всем было известно, что при допросах неизменно присутствовал сам государь.

15 ноября вышним судом был вынесен приговор, которым Монс был приговорен к смертной казни, а его сестра Балк — к битью плетьюми и ссылке в Тобольск. Казнь была назначена на утро 16 ноября.

Долго-долго читал сенатский секретарь приговор. Монс слушал его равнодушно, и когда чтение было кончено, то с любезной улыбкой поблагодарил читавшего. Потом он принял напутствие от пастора, вынул из кармана камзола золотые часы с портретом Екатерины, поцеловал этот портрет и, передавая пастору, просил принять их в подарок на память... После этого он одним движением скинул камзол, расстегнул ворот рубашки и сам лег на плаху.

Палач был мастер своего дела: сверкнул топор — и голова Монса покатилась по помосту эшафота. Через несколько минут эта голо-

ва мертвыми глазами смотрела на народ с высокого шеста, на который она была воткнута. Кровь сочилась из-под нее и засыхала на шесте.

* * *

А в этот же день по бурным валам Финского залива, по направлению к Дубкам (близ нынешнего Сестрорецка), неслась против ветра большая галера, и на ее корме, отдавая всего себя налетающим шквалам, стоял огромного роста человек с искаженным от тяжелого душевного страдания лицом. Это был царь Петр Алексеевич. Буря клокотала в его истерзанной душе. Он ясно видел, что все величайшее дело, которое он совершил почти один, теперь пропадало, рушилось.

Он знал, что народ, не понимавший его, зовет царя антихристом или кикиморой. Он видел теперь, что и дело то, которому он отдавал всего себя, все свои помыслы, от которого он ждал только добра для целого своего народа, для всего своего государства, обращалось во зло, и ему невольно вспомнились слова такой же, как и он, могучей женщины, его сестры Софьи, предсказавшей ему, что из его ско-

роспелых новшеств не выйдет ничего путного и что свой народ он поставит не во главе, а в хвосте других народов.

Петр видел, что и в личной жизни его преследовали одни только болезненные удары. Его сподвижники, которым он верил, которых любил, шли против него — ведь следственный розыск о кикинском заговоре в пользу его сына, царевича Алексея, был выучен им чуть не наизусть, а там в первых рядах заговорщиков красовались такие имена, как Апраксин, Шереметьев. И кто же оказывался в выигрыше? Только проходимцы, вроде Меншикова, вытащенного им из грязи, государевы воры, грабившие государство.

И при одной мысли о том, что великое царство, огромный народ покидается им, царем, на руки этих хищников, страшный, ни с чем не сравнимый ужас охватывал душу этого могучего человека.

Он уже чувствовал, что его смертный час не за горами. Внутренний огонь жег его, и в то же время невыносимый холод охватывал его сердце.

Да, смерть поджидала могучего царя: ведь

он только на три месяца с днями переживет
Виллима Монса, каждое напоминание о кото-
ром, как ножом, резало его сердце.